

1860
РАБТОВСКИЕ

ЖИЗНЬ И ПОХОЖДЕНИЯ

ТРИФОНА АОНАСЬЕВА.

ПОВЕСТЬ.

С. Т. СЛАВУТИНСКАГО.

МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФИИ В. П. РЫНИКОВА.

1860.

Русские повести XIX века 60-х годов. Том первый М., ГИХЛ, 1956 //
FB2: "rvvg ", 01 August 2011, version 1.1
FB2: J. S., 01 August 2011, version 1.1
UUID: D452BADС-3F4E-41A6-B7DF-3F73F952E4A0
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Степан Тимофеевич Славутинский

Жизнь и похождения Трифона Афанасьева

Содержание

#1	0004
Жизнь и похождения Трифона Афанасьева	0006
I	0006
II	0026
III	0044
IV	0058
V	0067
VI	0082
VII	0092
VIII	0106
IX	0119
X	0125
XI	0134
XII	0144
XIII	0155
ПРИМЕЧАНИЯ	0162

Степан Тимофеевич Славутинский родился в г. Грайвороне Белгородской области в семье отставного военного. После смерти отца мать увезла его в Рязань, где он поступил в гимназию, которую из-за материальных трудностей закончить не удалось. Пятнадцатилетним мальчиком он поступил на службу писцом в Рязанскую палату гражданского суда. Усердие, находчивость и деловые качества обеспечили продвижение Славутинского по службе, и в 1855 г. он становится старшим чиновником по особым поручениям при рязанском губернаторе. В 1859 г. вышел в отставку и переехал на постоянное место жительства в Москву. На литературную стезю С. Т. Славутинский ступил в 1857 г., поместив в журнале «Русский вестник» несколько стихотворений. Затем обращается к прозе и пишет повести «История моего деда», «Читальщица», «Мирская беда». Славутинский являлся активным сотрудником «Современника», дружил с Н. А. Добролюбовым. Роман «Правое дело» заслужил похвалу редактора «Современника» и знаменитого русского поэта Н. А. Некрасова. С 1860 г. наш земляк возглавил одну из веду-

щих рубрик журнала «Заметки профессиона-
ла», а затем и раздел «Внутреннее обозрение».
Наиболее значительные его произведения —
«Генерал Измайлов и его дворня», «Бунт и
усмирение в имении Голицына», «Крестьян-
ские волнения в Рязанской губернии». По-
следние годы С. Т. Славутинский провел в
г. Вильно. Там он и скончался в 1884 г.



Жизнь и похождения Трифона Афанасьева

I

В молодости моей знавал я крестьянина (звали его Трифоном Афанасьевым) из соседнего со мною сельца Пересветова. Мрачная доля этого человека всегда памятна мне. Я хочу теперь рассказать про его жизнь, замечательную в психологическом отношении страшным падением и внезапным высоким восстанием.

Сельцо Пересветово находится в лесном уголку одной из средних великороссийских губерний, в местности, где почва бедна и неблагодарна. В уголку этом, не лишенном, впрочем, средств для местной сельской промышленности, издавна существовал обычай отходить на сторону для заработков. Пересветовцы любили исстари свободу промыслов (или по крайней мере возможность свободно выбирать любой из них) и не отстали от этого обычая даже тогда, как в некоторых околь-

ных селениях стала успешно развиваться фабричная промышленность. С ранних лет всякий почти переселенец покидал родное селение и свою семью, шел в далекую сторону, жил там подолгу, обыкновенно до сорока или сорока пяти лет жизни, а иногда и состаривался на стороне. Так начал и Трифон Афанасьев. На четырнадцатом году он узнал чужую сторону. Был у него в Питере родной дядя, занимавшийся биржевым извозничеством, и мать Трифона, тотчас после смерти отца его, отправила к этому дяде своего сына. Само собою разумеется, дядя пристроил племянника по своей же части.

Нелегка эта часть, как и все почти промыслы наших русских людей, добывающих себе хлеб на стороне. Не по труду нелегка, не потому, что с раннего утра до глухой полночи, а иногда с вечера и вплоть и до утра извозчик-работник в стужу и непогодь все на улице и всегда занят, но нелегка она — по расчету за труд, потому, что работник этот в непрерывном тяжком ответе перед хозяином. Хозяину нет возможности поверять его в вырубке, а поэтому он сам учитывает его кое-

как и всегда произвольно. Чаще же всего он так делает: отпуская с утра работника, он наперед назначает сумму, которую тот непременно должен выездить, а если не выезжает — вычитает из его жалованья недостачу. Обращение хозяев с работниками — весьма тяжелое, справедливости не ищи; хозяева, считая себе постоянно обманутыми со стороны работников, и сами обманывают, притесняют их чуть не на каждом шагу; а работники, зная, что хозяева никогда не пощадят их, в свою очередь всячески стараются надуть хозяев. Круговая порука эта, допускающая только редкие исключения, не первый уже день ведется на Руси святой и от многих причин держится крепко-накрепко...

В первые годы своей жизни в Петербурге Трифон не очень много нужды вытерпел. Дядя не выпускал его из глаз своих, берег и всегда отстаивал, был к нему добр и ласков, учил усердно уму-разуму. Правда, не вся его наука могла быть кстати малому. Дядя — хоть и отличный извозчик — был охотник большой своровать все, что подойдет под руку, отчего нигде не уживался, и племянника, пока тот

совсем в возраст не вошел, перетаскивал за собою с места на место. Однако Трифон не пошел по его следам, дурной и столь близкий пример не испортил его, — он, напротив, спозаранку отличался удивительной честностью. Во все житие свое в Питере не взял он на душу греха воровства и обмана. Может быть, от природы были живучи и сильны в душе его семена правды; может быть, поддерживало его воспоминание об отце, старике добром и честном, с которым он прожил дома все почти годы детства; а может быть, и жалкая доля дяди вселяла в Трифона отвращение к мошенническим проделкам.

Пантелею, — так звали его дядю, — вчистую доставалось за плутни. Не раз и в полицию его забирали, что недешево ему стоило; не раз и у хозяев подвергался он домашней тяжкой расправе; все это постоянно бывало на глазах Трифона. А когда было ему уже лет за двадцать, он увидал и бедственный конец дяди. За какую-то довольно неважную плутню строгий хозяин с работниками своими так избил провинившегося, что тот неделю шесть вылежал в больнице. И жаловался он поли-

дейским властям, только бокам его стало не легче оттого, что его обидчику пришлось заплатить за самосуд.

Трифон сначала во всем обвинял одного дядю и даже сильно серчал на него.

«Вот, впервой, что ли, так-то? — думал он. — А все нейметя!.. Раззарился, вишь, на чужое добро, а можно бы жить и без этого. И мне-то с ним какое житье!.. Упрекают тоже из-за него!.. Эх! кабы воля была!..»

Но Пантелей совсем зачах с этого разу. Скоро хворость его усилилась до крайней степени, и видно было, что уж не жилец он на свете. Жалеючи его, загоревал тогда Трифон, а вместе с тем он почувствовал сильную вражду к тем людям, которые так бесчеловечно поступили с его дядею.

«Вишь, как исколотили, в гроб вогнали! — рассуждал он сам с собою. — И даром им пройдет, — где уж теперича суда искать?.. А он-то помрет беспрременно!..»

И точно: от этих жестоких побоев Пантелей душу отдал богу. Перед самым концом много каялся он во грехах перед племянником.

— Помирать, Триша, пришлось... — говорил он. — По грехам моим, — сам, то есть, причинен!.. Триша! ты уж не забудь помин сделать по душе...

— Знамо, сделаю... — отвечал печально Трифон.

— Ох, тяжко! — продолжал Пантелей. — А ты не думай, Триша... Не думай, что все зря только грешил, ради ддя баловства одного... Ведь сначала-то мекал, как бы побольше деньжонками сбиться... Мало ль на что надобно было?.. а опосля думывал семье помочь... Сколько людей так-то нажились!.. Лета мои уходили, домой надоть было собирать-ся, — а с чем прийти?.. Не шло все в руку-то, оттого больше...

— Не надоть бы... — тихо заметил Трифон.

— Да, да... Не надоть бы, сам вижу!.. Триша! ведь сыновья махонькие, подрастут тоже, — откупиться думал на полю... Давно хотелось откупиться, для этого больше и с братом Афанасьем разделился... Мало ль хлопот и греха было? Барин не позволял, уж насилу-то...

— Господи! — продолжал умирающий. —

Помираю, а дети-то!.. Обижать, пожалуй, общество станет... Кто за них заступится?.. Подрастут, думал с собою пристроить... А вот помираю!.. Триша! ради Христа, не покинь!.. Пристрой, как подрастут!..

— Не покину, — отвечал Трифон.

— А ты меня прости... В чем согрешил супротив... Не покинь же, Триша, не покинь ты...

Повторяя беспрестанно эти просьбы не покинуть детей, он умер. Трифон много плакал о нем.

Он остался без всякой поддержки на чужой стороне. В первое время жутко и тяжело ему было, но потом он поустроил делишки. Он сам себе помог. Ловкой смышленостью и бойкой неутомимостью в работе он приобрел себе хорошую известность, тем более прочную, что нельзя же было его хозяевам не заметить его безукоризненной честности. Впрочем, был у него и недостаток довольно крупный, а в его положении особенно неудобный: он был своеобразлив и упрям; ему все хотелось быть посвободнее, делать по-своему, а иной раз он бывал чересчур грубоват.

Скоро случилось происшествие, взволновавшее сильно его впечатлительную, живую душу.

Я сказал уже, что Трифон отличался особенной смышленостью, — она-то помогла ему сослужить большую службу хозяину. Как-то осенью, когда настали темные ночи, подметил Трифон, что один из живших с ним двоих работников все что-то высматривает в хозяйских горницах и как будто особенно старается ознакомиться с той горницей, в которой спит хозяин.

Раз Трифон спросил этого работника:

— Ванюха! ты что это все высматриваешь?

— А чего мне высматривать?.. Что ты ко мне пристаешь?.. — отвечал сердито Ванюха — и заругался.

Дня через два после того Трифон увидал нечаянно, что несколько досок в самом темном углу конюшни приподымаются и что под ними вырыта довольно большая яма.

«Хоть что хошь, — подумал он, — а работал это Ванька. Видно, дельце какое ни на есть затевает...»

Вместе с тем пришло ему на память, что

Ванька в последние дни все шептался о чем-то с Ефремом, другим работником. Обо всех этих наблюдениях Трифон собирался уже сообщить хозяину, как вдруг у хозяина случилось большое горе: украли сундук, в котором берет он всю свою казну.

Покража была сделана смело, да притом явно — людьми близкими, хорошо знавшими расположение дома и всю домашнюю обстановку. И — странное дело — ни хозяин, ни жена его (их было только двое) не слышали, как просверлили буравом дверь комнаты, где они спали, как отодвинули задвижку, как вошли, взяли и вынесли большой сундук. Проснувшись на другой день, по обыкновению, ранехонько, хозяин насилу голову приподнял от сильной боли, но как раз увидал, что драгоценный сундук исчез. Хоть и больной, он, однако, проворно распорядился: задержал всех работников дома и кинулся в полицию. Тотчас началось следствие, произвели осмотры и обыски, забрали работников и рассадили порознь.

Когда стали допрашивать Трифона, он объяснил, что сам в краже неповинен, а подозре-

вает в ней Ваньку, с которым, может статься, участвовал и Ефрем. Это показание он сделал прямо, ясно и твердо. По рассказу его о подмеченной яме в углу конюшни кинулись туда и, точно, нашли пропавший и еще непочатый, на счастье хозяина, сундук. Эта улика была сильна и неотразима, но обвиняемые решительно заперлись во всем и в свою очередь стали путать Трифона.

Следователь, частный пристав, был великий скептик, как и подобает быть у нас полицейскому чиновнику. Он заподозрил тоже и доказчика если не в прямом преступлении, то по крайней мере в соучастии с Ванькой и Ефремом.

— Эге, друг! — говорил он, понюхивая табачок «для освежения мыслей». — Ты у меня не вертись! ты у меня и не думай вертеться... Я вашего брата знаю вдоль и поперек! Что ты думаешь — мало перебивало у меня воров и мошенников на разную статью? Эге! да еще какие мошеннички-то бывали! что твои гусли... Так-то, любезный! Ты вот постой, я тебе по пальцам все расскажу и растолкую.

Тут словоохотливый частный пристав при-

остановился, разом зарядил свой нос крупной порцией табачку, подошел вплоть к Трифону, дружески потрепал его по плечу, приподнял голову его вверх, стукнув, не совсем-то уж по-дружески, кулаком а подбородок, — и, беспре- станно подмигивая левым глазом да улыба- ясь слегка и как-то особенно лукаво, начал го- ворить с подобающей важностью:

— Ну, братец ты мой, наперед тебе объяв- ляю: сердце мое чует — ведь оно у меня ве- щун, — сердце мое чует, что будешь ты моим «крестничком». Так ты чем скорее сознаешь- ся, тем для тебя же будет лучше, — что без толку время волочить?.. Теперь слушай вни- мательно да смотри мне прямехонько в гла- за, — я, брат, очень люблю, коли мне в глаза прямо смотрят, а стоят чинно и смирно. Ты говоришь, что Ванька и Ефремка украли, а сам ни в чем не виноват, а я тебе скажу: быть сего не может!.. И вот почему...

Трифон не выдержал; его уж давно подмы- вало огрызнуться.

— Ан нету!.. — прервал он, горячо размахи- вая руками. — Отродясь вором не был.. Вот одна дыхнуть!.. Вишь ты: я ж доказал на во-

ров, а на меня вину валят!.. Да я...

Частный проворно подбежал к нему.

— Тсс!.. Молчать! — вскричал он, зажимая широкой ладонью своей рот Трифона. — Что ты это?.. С ума никак сошел!.. Я лишь на первый раз решаюсь простить тебе такую дерзость. Начальство с тобой говорит, начальство доказывает тебе, начальство изволит тебе доказывать, — а ты рот свой мерзкий разеваешь, а ты руками смеешь размахивать! Ну, смотри у меня!.. В другой раз я не осмелюсь даже простить, а тут же должен буду... Да, да!.. Ни гугу! смотри!..

Вслед за этим он опять приподнял голову Трифона, два раза стукнув его кулаком в подбородок, так что у малого зубы во рту ходенем заходили. Такие убедительные доказательства подействовали на Трифона: с этого раза он уже не прерывал следователя.

— Ну, слушай же, малой, — начал опять частный пристав. — Я буду говорить доказательно, а дельце твое рассужу как по-писаному. Это страсть моя — объяснять всякому ворюшке, в чем его провинность состоит; надо же вас, мошенников, с законами знакомить.

Вот как дело было у вас: все вы трое — я, брат, справедлив и знаю, что не ты один, — все вы трое заблаговременно сговорились, умысел учинили, и яму вместе вырыли, и хозяев дурманом опоили, — ведь спали они как сурки и ничего не слышали, — а потом сундук вместе украли... Ну, а, наконец, заделили друг друга, вот ты — в дележке, значит, обиженный — и доказываешь теперь. А то с чего бы тебе знать и про яму и про все там? Невероятно! невероятно!.. Так, что ли, малой... Ведь заделили тебя?..

— Нету, помилуйте!.. — отвечал Трифон. — Как так заделили? Помилуйте!.. Да сундук-от целехонек найден, не разбит и не отперт...

Возражение это озадачило частного. Он несколько раз повторил глубокомысленно: гм! гм!.. И несколько раз освежил свои соображения крепкими понюшками.

— Ты, однако, не сбивай меня, братец! — сердито сказал он. — Слышишь? не сбивай меня!.. Знаю я, что цел, — ну, так что ж такое! Всё же могли вы поссориться и разладить, хоть, например, из того, что один из вас, за большее участие в деле, хотел воспользовать-

ся лучшею долею. Ну, сам скажи: могли поссориться? могли разладить?..

— А почему я знаю, чего не знаю! — возразил грубовато Трифон.

— Экой ты скот, братец ты мой! Экой ты скот... Все-то запираешься... — промолвил как-то задумчиво частный, — сила скептических его соображений опять заметно ослабела. — Ну, а что ты скажешь, — продолжал он, уже путаясь в словах: — что скажешь... Вот, например, да!.. Ну, о том, что хозяев-то дурманом за ужином опоили?..

Яркая мысль мгновенно озарила голову Трифона.

— Да и я с ними ужинал! — быстро вскричал он. — Ваше высокоблагородие! я тоже спал как убитый... Сам хозяин насилу меня добудился, — вот извольте спросить... А Ванька и Ефрем не ужинали...

Слова эти и подтвердившие их показания хозяев повели к расследованиям. Ванька и Ефрем чрезвычайно спутались; сначала они заперлись было в том, что не ужинали, а потом разбились в речах: хозяева и Трифон во многом их уличили. Частный пристав оказал-

ся не только говоруном и скептиком, но и неумолимым преследователем преступления. Он загонял Ваньку и Ефрема полицейскими силлогизмами, для большей убедительности которых не пожалел и вспомогательных средств, то есть всяких угроз, обещаний, что ничего не будет за признание, а особенно лихих «зубочисток», и, наконец, Ефрем сознался, а Трифон окончательно был оправдан в полицейском судилище.

Как видите, порок наказан, добродетель Трифона восторжествовала. Но восторжествовала добродетель эта не в глазах частного пристава. В каком-то раздумье и с явным неудовольствием выпустил он из-под ареста Трифона.

— Ну, любезный, — молвил он при этом, — ловкий ты мошенник, из молодых, да ранний. А помяни мое слово — не сносить тебе головы: не мне, так другому попадешься и уже не отвертишься...

Но этим предсказанием он не ограничился. Получив от хозяина «благодарность» за благополучное окончание дела, он, в порыве своей благосклонности, счел долгом преду-

предить его насчет Трифона.

— Смотри ты в оба и как огня берегись этого малого, — сказал он хозяину. — Продувная bestия! На речах какой бойкий — мало встречал я подобных мошенников. Просто вот глаза отвел, из воды сух вышел. А все скажу: не может быть сего! Уж как-нибудь да участвовал он в этой краже...

Хозяин много кланялся за такое предупреждение. И не пропало оно даром. С этого разу он стал нападать на Трифона, во всем его подозревая; хозяйка тоже взъелась на него; взятые на место Ваньки и Ефрема работники искося на него глядели и часто поговаривали, что «вот доносчику-то надо бы первый кнут». Не раз Трифон и сам упрекнул себя за то, что показал на бывших своих товарищей.

«А, пожалуй, лучше б не показывать... — думал он, — и так бы дело-то сошло... Сундук вот... Что ж!.. Я-то им не покорыстовался бы, а хозяин сам бы, чай, нашел его, а то можно б ему было указать опосля... Вишь ты, за правду-то какво стоять!.. Поди-кась, напасть вышла какая! И мошенником тоже сочли, — и чем бы спасибо сказать, а тут все, как есть,

взьелись... Напустил меня лукавый!..»

Скоро опротивело ему такое житье; болезненно оскорбляли его эти несправедливые подозрения, эта вражда, эти попреки. Хозяин не сгонял его еще от себя, но ясно было, что он хочет от него отделаться, — Трифон сам решил перейти на другое место. Он потребовал расчета, а хозяин и тут его притеснил, обсчитав на несколько десятков рублей; крупно поругался с ним Трифон и объявил, что «до суда дойдет» из-за своей обиды.

— Эва! угрозил ты нам! — возразил хозяин. — Нас, брат, знают-то лучше. Мы начальство-то уважаем, не одна сходим с клоном, доступ ведь имеем... Да чем таким ты докажешь-то?..

Хозяин был прав. Частный пристав — старый наш знакомый — рассудил дело как следует.

— Экая ты bestия, — сказал он Трифону, — и bestия-то неугомонная!.. Из пустяков сущих к начальству лезешь, беспокоишь!.. Ты, мошенник, вспомнил бы старое-то дельце. Добрый еще человек твой хозяин, что тогда же не постарался запрятать тебя в острог, да еще

сколько времени держал тебя после того... Пошел вон и не смей лезть на глаза из-за всякой дряни!..

Этот-то весьма обыкновенный случай имел большое влияние на развитие характера Трифона. Он раздражил его и поселил в нем недоверие к окружающим его людям и ко всему его положению. Положение это было таково, что часто приходилось ему встречаться с людской несправедливостью, а он не умел выносить и терпеть, не умел прилаживаться к обстоятельствам. От этого и он, подобно дяде-мошеннику, нигде не уживался. Правда, он не лишался чрез то работы. Русский люд, особенно промысловый, непривередлив, и коли один хозяин, по какой ни на есть причине, расстанется с работником, в частую не добром расчетшись с ним, наверное сыщется другой, который тотчас же примет к себе прогнанного; однако для Трифона мало толку было в этом. Как только приходилось ему искать места, новый хозяин прижимал его, бывало, и давал плату неподходящую. Но делать было нечего, — Трифон нанимался и за такую плату. Таким образом, цена с его ра-

боты, труда потового, сильно всегда упала. Трифон был умен, он хорошо видел все это и знал досконально, по какой причине дело его «не выгорает», а все-таки невмочь было ему поправить беду: как быть, с таким нравом «ничего не поделаешь».

Между тем он женился у себя на родине, в Пересветове, и сделал это больше по требованию своей матери, чем по собственному желанию: матери его понадобилась помощница в доме, или, просто сказать, работница. Впрочем, жена ему попалась хорошая и добрая, только чересчур уже смиренная, — а это последнее качество было не под стать характеру ее свекрови Афимьи, бабы малоумной и крайне сварливой. Трифон, хоть и обзавелся своей собственной семьей, редко и не надолго навещал Пересветово. И тяжело бывало ему проживать дома. Афимья обращалась с его женою всегда глупо и несправедливо, а иногда даже жестоко. Уж как хотелось ему вырвать из-под этого гнета бедную жену, которую он очень любил! Сначала он порывался было взять ее с собою в Питер, вопреки обычаю и несмотря на то, что мать и слышать про это

не хотела; но средства его для жизни с женою на стороне были недостаточны, да к тому же пошли у него дети, — и он должен был отложить свое намерение.

Вспомнил он тогда, как дядя Пантелей все добивался, чтобы откупиться на волю. Мысль о свободе стала вдруг любимую, дорогою, по-таенною его мыслью. Он положил работать без устали для этой цели. Он рассчитывал, что как только откупится, то приютит с собою жену и детей, а дети, подрастая, помогать будут, и легче дело его пойдет, и, смотришь, под конец сам он сможет сделаться хозяином, хоть и не на большую руку.

«Лишь бы выбиться на „стремя“-то, — думывал он: — а там по воде уж легко будет плыть!..»

И стал Трифон Афанасьев жить да поживать все в Питере. Вообще не очень удалось ему здесь, но он никак не хотел расстаться с привольным, бойким городом; «благо обжился, к месту пришелся», — как он говаривал, — тут и свековать ему желалось. Да и во всяком случае он хоть и немного добывал в Питере, однако доставало ему из заработков своих уплачивать оброк исправно и в дом подавать ежегодно рублей сотню ассигнациями; а сверх того, во многие годы работы сколотил он и запасец порядочный.

Так прошло с лишком двадцать годов; Трифон же доживал свой четвертый десяток. К этому времени накопилось у него в запасе тысячи полторы рублей. Он не выпускал их из рук, хранил как зеницу ока и носил всегда на кресте.

«Вот, — думал он теперь частенько: — еще годика три-четыре поработаю, авось и еще рубликов пятьсот сколочу... А семья у меня небольшая, — может, барин и возьмет тысячки полторы... Приписаться будет стоить доро-

гонько: ведь нашего брата тоже не помилуют... Больно мало останется у меня деньжонок, и обзавестись, почитай, будет не на что... Да ничего!.. Юшка ведь на возрасте, и Мишутка авось с помощью господней поправится... А право слово, барин возьмет полторы тысячи: он ведь добрый, хоша и бестолков маненько...»

Но во всю жизнь недобрая доля преследовала Трифона.

В последний год пребывания его в Питере получил он в начале лета известие из дому, что жена его умерла. Он тотчас же отправился в Пересветово и нашел осиротевшую семью свою в чрезвычайно плохом положении: старший сын его Ефим, малый лет уже пятнадцати, оказывался хворым и поэтому ненадежным к постоянной, усиленной работе; дочь Аграфена в прошлую зиму потеряла ноги от сильной простуды и сидела калекой; младший его сын Михайло, семилетний мальчик, испуганный в детстве бабкою Афимьей, имел падучую болезнь, и уже теперь было заметно, что он на всю жизнь останется дурачком. Бедный Трифон был поражен таким положением

семьи. Много тужил он о жене, еще больше горевал о детях и, ко всему этому, сильно не ладил с матерью, которую он не мог не прекратить за несчастье младшего сына своего и за дурное обращение с женою, захиревшей, может быть, через нее. Недели четыре только пробыл он дома и под конец этого времени усиленно спешил отправиться в Петербург, — так тяжело и горько было ему дома глядеть на семью свою.

Он пришел в Петербург в праздничный день, к вечеру, и, при самом входе в город, встретился с двумя знакомыми извозчиками, земляками ему из соседней с Пересветовым деревни Загорья.

— Трифон, брат, здорово, — весело сказали они оба. — Из дому, что ли?

— Из дому, — отвечал Трифон.

— Подобру ль, поздорову побывал?

— Нету, братцы!..

И он рассказал им про свое домашнее горе. Земляки потужили, поохали, стали утешать его, как умели, а покончили утешения такими словами:

— Что ж, брат, делать-то? Воли божьей не

минуешь, а уж оно, знать, так на роду тебе написано... А чем горевать-то, брат, пойдём-ка да выпьем маненько. Ты хоша и не больно охоч до вина, да все ж иногда пропускал, — мы ведь знаем... Так теперича-то и сам бог велел — с горя... А нам тебя, брат Трифон, вот же ей-ей, до смерти жалко!..

— Спасибо, братцы, на добром слове, — отвечал Трифон: — а вина не надо... Чай, и в душу не пойдёт...

— Экой ты!.. Говорим — надоть тебе беспрременно теперича... Легче не в пример будет!.. Мы вот и сами, брат, с горя тоже, — с местов слетели, хозяин обидел, так оттого больше...

— Да как же, — возразил уже в каком-то раздумье Трифон, которому в ту минуту так вдруг захотелось испить винца, как никогда прежде не хотелось: — да как же, братцы... А я было думал прямо на фатеру к хозяину ночевать, да завтра с утра уж и за дело приниматься...

— Эва! — сказали, смеясь, оба приятеля: — успеешь еще наработаться, — дело-то не медведь, в лес не уйдёт, а нашему брату, ей же бо-

гу право, можно иной раз и отвернуться от дела хоть на часок... Вишь ты, ретивый какой!.. Ты пойдём-ко с нами да выпьем, брат, — а вот ночевать-то, ну, коли позднеенько там будет али захмелеешь больно, так хоша с нами ночуешь...

Трифон не стал уже более возражать; он тем легче согласился на предложение земляков, что его самого так и подмывало пойти размыкать грусть-тоску; да к тому же земляки эти были люди хорошие и по душе ему.

Обыкновенно скупой на всякие напрасные траты, Трифон в харчевне раскутился не на шутку. Голова его затуманилась, он вдруг позабыл про свое горе, и легко стало у него на сердце; приятели его тоже весело кутили. Скоро пристал к ним еще товарищ на выпивку, тоже извозчик, знакомый несколько приятелям Трифона, парень молодой, разгульный и весельчак затейливый. Он подсел к Трифону и так подладил ему веселую речь, что под конец стал брататься с ним. Все наши гуляки выпили тут не мало и еще хотели бы выпить, но было уже поздно, и харчевник выпроводил их вон почти насильно.

На свежем воздухе голова хмельного Трифона еще больше затуманилась, а ноги у него так и подкашивались. Он смутно понимал, что в таком положении не следует ему идти к себе на квартиру, до которой было не близко.

— Кузьма, а Кузьма!.. — сказал он одному из двух приятелей-земляков: — я, брат, тово... Уж и больно-то я захмелел теперича... Идти на фатеру, — а нету, брат, никак вот не могу!.. И неблизкое место, право слово!.. Да вот что, брат, — прибавил он, понижая голос, но говоря, однако, так, что все слова можно было слышать: — боюсь, тово... Как бы деньжонки, брат, кровные денежки, — на кресте вот ношу, откупиться приготовил, — как бы, то есть, не отняли...

— А хоть?.. я тебя провожу!.. — проворно вмешался разгульный парень.

— Ну, брат... — начал было Трифон.

— Нету!.. — возразил Кузьма. — Пошел ты прочь, Андрюшка!.. Знаем мы тебя, — заведешь ты его, пожалуй... Пойдем-ко, брат Трифон, с нами ночевать...

— Так и я с вами! — вызвался опять Андрюшка.

— Ну, куда еще!.. Проваливай-ко!.. Там и так тесно будет, — отвечал товарищ Кузьмы, Петруха.

— Уж пожалуйста, братцы, не прогоняйте меня! сделайте такую милость!.. Больно далеко идти...

— А черт с тобой!.. Иди, пожалуй, — вымолвил с неудовольствием Кузьма.

В большом душном и темном подвале, куда вошел теперь Трифон с своими товарищами, уже спало вповалку на полу довольно много всякого народу, и не без труда отыскали наши гуляки местечко себе посреди подвала. Трифон, Кузьма и Петруха скорехонько и крепко заснули, но Андрюшка не спал: он задумал раздобыться в эту ночь чужим добром. Уверившись, что товарищи его крепко разошлись, он ползком и потихоньку подкрался к Трифону, смело расстегнул ему ворот рубахи, вытащил из-за пазухи шнурок с крестом и кошельком и складным ножиком ловко перерезал шнурок. Затем он хотел было убираться вон из подвала, но вдруг пришла ему в голову затайливая мысль... Он усмехнулся про себя, опять смело подобрался к Трифону и осторож-

но надел ему на шею свой крест с грязной ладанкою. Окончив счастливо эту опасную за-тею, он поспешил уйти и тут нечаянно спотыкнулся об ноги Кузьмы. Кузьма приподнялся на локоть и спросил спросонья:

— Кто это?

Андрюшка не отвечал, но невольно оставался.

— А, черт! ноги отдавил, — сказал сердито Кузьма. — Да кто такой?

— Я, — отвечал шепотом Андрюшка.

— Вишь ты, вор Андрюшка! — пробормотал уже почти бессознательно Кузьма и повадился опять спать, а вор проворно выбрался из подвала.

На другой день Трифон только что глаза открыл, как по болезненному какому-то предчувствию прежде всего хватился за свои денежки — и не нашел их.

— Братцы! родимые! — стал он кричать, кидаясь между просыпавшимися рабочими: — помогите! отдайте, братцы! Господи! за что погубить хотите? Двадцать лет работал! Братцы! отдайте!

Некоторые из рабочих начали расспраши-

вать, в чем дело, другие же, из разных опасений, стали уходить потихоньку, — может быть, и все скоро разошлись бы, если б Кузьма и Петруха, особенно испуганные этим происшествием, не закричали наконец:

— Стой, ребята! не расходись! никого не выпускай! человека обокрали... Начинай вот с нас обыскивать!

— Нету, не надо! братцы! что обыскивать? — говорил Трифон. — Ради Христа, так уж отдайте! не пойду до суда, бог с вами!.. Хоть долю какую возьмите, только отдайте, — не губите души!.. Без ножа ведь зарезали...

Между тем обыск состоялся. После Кузьмы и Петрухи. и все прочие, кто тут еще был, дали себя обыскать. Само собою разумеется, денег Трифоновых ни у кого не нашли. Тогда рабочие стали все расходиться, и только двое из них, видно особенно любопытные, оставались еще тут. С уходом рабочих последняя надежда Трифона исчезла, и отчаяние его возросло до высшей степени. Он заплакал такими горькими слезами, что разжалобил не только земляков своих, но и посторонних любопытных.

— Экой грех приключился! — толковали эти любопытные. — Вот как человека обездолили... И кто это злодей такой?..

— Знаешь, на кого я мекаю? — вдруг сказал Кузьма Петрухе.

— А на кого?

— На Андрюшку!.. Коли ты его не знаешь? Вор настоящий!.. И зачем это вчера увязался за нами?.. До вот еще — из ума было вон — ночью-то он ноги мне отдал...

Дрожая всеми членами от волнения, Трифон прислушивался к этим словам.

— А что ж, малый, — стал советовать ему один из рабочих, — ступай-ко ты теперь же в часть да объяви... Авось и разыщут...

— Как же! дожидайся! — заметил другой рабочий, покачав головою. — Где уж тут разыскать?.. Для кого другого, а для нашего брата...

Но Трифон тотчас же ухватился за этот совет и настойчиво стал просить Кузьму и Петруху, чтобы они сопровождали его в часть: а они и слышать об этом не хотели.

— Зачем нам идти? — говорили они.

— Да как же, братцы! — умолял Трифон: —

вот насчет Андрюшки-то...

— Эка, брат! мало ль что на человека думается, а на суду как доказывать?.. Нету, мы в свидетели супротив него не пойдём... Ведь, пожалуй, так-то и нас свяжут, и тебе не уйти!.. Что уж тут! Вишь, в свидетели зовет!.. Нет, ты уж сам как знаешь...

Долго спорил с ними Трифон, но они никакими доводами не убедились; слезно просил он их поддержать его в такой беде, но они все остались при своем. Двое рабочих были тут же и с видимым участием слушали эти переговоры; жаль им стало Трифона, и они не утерпели, чтобы не замолвить за него словечка.

— Что ж, братцы! — сказали они Кузьме и Петрухе, — ведь вам и то можно бы... Вишь, и впрямь человек пропадает... Оно хоша и тово... Да все ж никак вам можно бы... Уж и больно-то жалко...

— Вам вчуже-то легко говорить! — возразили с сердцем земляки Трифона. — А разве мы его не жалеем? Да ведь ничего не поделаешь!.. Как нас-то к делу притянут, — легче, что ль, ему будет?.. Нету! мы ведь тоже виды

видали... Скажешь, ан и пропадешь!..

— Коли так, братцы, — обратился Трифон к рабочим, — так я на вас пошлюся, — вы слышали, как они вот говорили об Андрюшке...

— Ну вас к богу! — возразили рабочие. — Уходить надоть поскорей от вас... Вишь, как лесной зверь на всех кидается!.. Разбирайтесь как хотите, — а чужим-то что?..

И они тотчас же ушли.

Трифон, конечно, пожаловался о своем деле. Ему ничего другого не оставалось, как прибегнуть к полицейскому правосудию, — утопающий и за соломинку хватается. Впрочем, на первых порах дело его пошло если не успешно, то скоро. Андрюшку тотчас же отыскали и обыск у него произвели, «по которому ничего подозрительного не оказалось». Затем начались допросы и очные ставки.

С дерзкою самонадеянностью и с невозмутимым спокойствием отвечал при допросах Андрюшка: он отвергал не только обвинение Трифона в покраже у него денег, но не признавался даже и в том, что он ночевал вместе с ним, с Кузьмою и Петрухою. У него нашлись трое свидетелей, утверждавших, что он ноче-

вал с ними. Кузьма и Петруха, уличавшие его сначала, что он из кабака отправился ночевать с ними, — увидав свидетелей с его стороны, сильно струсили, сбились в показаниях и стали уже перевертывать все обстоятельства, — что обратило на них особенное подозрение следователя. Само собою разумеется, подозрений своих насчет Андрюшки, высказанных Трифону, они не подтвердили теперь при следствии; из этого родилось новое противоречие — и дело еще больше запуталось. Наконец, на последней очной ставке Трифона с Андрюшкой, невинность Андрюшки окончательно восторжествовала в глазах следователя.

— Вот ты, — бог тебе судья, — начал говорить Андрюшка против улик Трифона: — вот ты все лаешь, что у тебя деньги украд... Да ты скажи по крайности: как так мог я, то есть, украсть деньги твои: из кармана, что ль, вынул, аль они в шапке у тебя зашиты были аль там в сапоге?..

— На кресте были, — отвечал Трифон в каком-то недоумении.

— На кресте! — возразил Андрюшка. — Ну

хорошо, на кресте, так тому делу и быть... Значит, срезал я у тебя крест-то твой?..

Трифон замялся. Следовательно, которому уже сильно надоели эти очные ставки, стал теперь внимательно слушать.

— Ну, что ж ты? отвечай, братец! — прикрикнул он на Трифона.

— Да что отвечать-то? — молвил угрюмо Трифон. — Теперича вижу, что он из всех, чай, мошенников самый то есть первый мошенник... Точно, вот как перед богом, деньги на кресте у меня были, только моего-то креста нету, а что теперича на мне крест (он показал его при этом) как есть — не мой... Должно быть — его, разбойника!..

— А ты, малой, не бранися, — возразил с торжествующим видом Андрюшка — что браниться-то? ты толком говори, — чай, ведь начальство рассудит нас... Так, значит, по-твоему, я ж и твой крест срезал, да я ж на тебя и свой-то надел опосля?.. Ваше высокоблагородие! статочное ли оно, это дело?.. Я все это сделал, а он ничего-таки не слыхал?.. Да и зачем бы крест-то надевать на него понадобилось?.. Ведь, чай, уж если украл деньги, так и

бежать бы поскорее, — а то нет! для потехи, что ль, какой, — так вот я и остался тут да и стал надевать свой крест на него!.. Должно быть, боялся я тогда, как бы черт душу его не унес без креста-то!..

Все присутствующие засмеялись. Следователь не вытерпел, подошел к Андрюшке, потрепал его по плечу и сказал: «Ну, брат, — молодец!»

А между тем сердце сильно заныло у Трифона. Мрачная злоба против лиходея Андрюшки одолевала его: так бы вот кинулся он на него, так бы и растерзал его тут же на месте! Но он удержался и молчал, опустив голову.

— Запишите все эти возражения Андрея Парамонова, — сказал следователь своему письмоводителю: — да, пожалуйста, повернее, именно так, как он говорил теперь, — это даже любопытно вышло!.. Ну, братец, — продолжал он, весьма сурово обращаясь к Трифону: — ты что ж молчишь?.. Видно, все песни пропел?.. То-то, дрянь ты эдакая... Если и были у тебя деньги, смотришь — пропил, прогулял или обронил, а по какой ни на есть злобе

стал сваливать вот на него... Ну, как-таки не слышать, как и шнурок с крестом обрезали, а потом чужой крест на тебя надевали?.. Да и в самом деле, на что было нужно вору надевать на тебя крест, терять время и даром подвергаться опасности быть пойманным на месте преступления?...

— Он, разбойник, сделал это, он! — возразил с ожесточением Трифон: — а не слышал-то я оттого, что больно пьян был... Что ж это ему, вору, во всем верят!..

— Ну, ну! — закричал следователь, — у меня много не разговаривай!.. А на грубости и рта не смей разевать!.. А то смотри!..

— Власть ваша... Я не грублю, — отвечал Трифон, пересиливая гнев свой: — Ваше высокоблагородие! вы вот извольте Кузьму-то спросить под присягою... Авось тогда души не убьет. Сейчас умереть — а он говорил, что украл деньги Андрюшка!..

— Учи ты меня! — сказал следователь. — Под присягой Кузьму нельзя спрашивать: он прикосновенный к делу. Да и что тут еще толковать? История совершенно ясна... Убирайся-ко ты вон, пока цел!

Тем и покончилось это разбирательство; Андрюшку выпустили, а Трифона чуть не засадили за предерзостные речи. Однако, не имея уже почти никаких надежд, он все-таки долго не кидал своего дела: страшный задор разбирал его при мысли, что так и канули, как ключ ко дну, его кровные денежки, что вор-лиходей прав совсем остался, что Кузьма и Петруха, земляки его и люди, казалось, хорошие, так бессовестно выдали его в самой сущей правде. С крайним упорством хлопотал Трифон по своему несчастному делу — и все хлопоты его, конечно, были напрасны. Истерял он только последние деньжонки, бывшие за хозяином, надоел смертельно полицейским, надоел и хозяину как просьбами о выдаче жалованья вперед, так и плохой работой. Наконец, из-за своего хлопотанья по делу этому, потерял он и место. В прежнее время такое знакомое ему обстоятельство насколько не встревожило бы его, но теперь затронуло и оно его за живое: он крепко закручинился, расхворался не на шутку и, может, умер бы, если б не помог ему земляк-рабочий, в самую пору доставивший ему помещение в

одной из больниц. Но только что оправился он от болезни, — вдруг овладело им величайшее, непреодолимое отвращение к жизни в Петербурге, и он тотчас отправился домой.

Он ушел из Питера без всякой мысли о том, что будет делать дома, ушел оттого, что невыносимо стало ему жить там, где так много, тяжело и напрасно трудился он, где в одну несчастную минуту потерял все, что было накоплено долговременным трудом, где живут его злые недруги: вор, похитивший его кровное добро, и те люди, которые потакнули вору и правды не нашли при разборе дела.

III

Он пришел в Пересветово угрюмый, печальный, даже больной от печали, но живая, деятельная натура его не поддавалась бессильному унынию; он скоро совсем оправился телом и духом; воздух родины подействовал на него животворно. Умно всмотрелся он в положение семьи своей, без него беспомощной, в свое собственное положение на родине и ни на минуту не захотел сложить руки для ленивого отдыха, под предлогом беды или немощи, но тотчас же стал искать вокруг себя занятий, скоро нашел их и начал работать усердно.

Одно только тревожило его, и иногда сильно тревожило: это — неладица в доме от глупых распоряжений матери его, Афимьи, которая тоже нападала на него частехонько и бранила за то, что он пришел из Питера, гроша не имея в кармане, да пришел-то не на побывку, а затем, чтобы навсегда остаться дома. Старуха Афимья была горластая баба, привыкшая еще при жизни смиренного своего мужа своевольничать в доме; не таковская была

она, чтобы не высказать сыну всего, что ей на ум ни взбредет.

— Вишь ты, леший, — говорила она, обращаясь постоянно к Трифону с таким приветствием: — право слово, леший!.. Жил-жил на стороне, а чего нажил?.. В дом-от подавал безделицу, — не могли мы, горькие, коровенки лишней завести, во всяк день хлеб один едали, а мясца, почитай, и не видывали... А ты-то, пес эдакой, чай, на стороне прохлаждался!.. Куда все деньги-то девал?.. а? куда девал-то?.. пропил-прогулял!.. Вот так я тебе и поверила, что, мол, отрезали денежки!.. Знаем-ста и мы, бабы, как вы, черти, на чужой стороне балуетесь!.. Ну, зачем теперя дома живешь?.. у чего тут жить?.. Вишь ты: мочи, что ль, не хватает?.. Дай вот срок: барин придет, просить на тебя буду, безделушник эдакой!.. Вона Юшка, малый хворой, из силенки выбивается, рук не покладает: уж как все работает! А Мишутку-то всего родимец изломал, — а Грушка-то обезножила, пластом лежит!.. Ты, леший, сосчитал бы, сколько у нас ртов-то надоть кормить...

Но Трифон терпеливо сносил эту неспра-

ведливую брань, изредка только перекидываясь с матерью взаимным попреком, — и то лишь тогда, как она начинала бранить и клясть жену его покойницу. Несмотря на эту неладицу дома и на тяжкие труды для поддержания своей несчастной семьи, он любил жизнь домашнюю особенно потому, что часто сравнивал эту простую жизнь с мудреным, шумным житьем в Питере, где он встретил так много нужды, горя и неправды. Глубокая ненависть к тому житью навсегда в нем осталась.

В деревенском же быту характер его был вообще ровен. Спокойно занимался он сельскими работами, а в свободное от них время или извозничал, или приторговывал на месте по мелочи; довольно спокойно встречал и неудачи, по крайней мере никогда не говорил соседям про худой конец делишек, никому и ни на что не жаловался. При всем этом он был очень уживчив и общителен с своими односельцами: охотно совет подавал соседу и рассуждал о всяком деле, не отказывал и в посильной помощи; ни одной мирской сходки, бывало, не пропускал; любил тоже не

на деле зайти к соседям и покалякать кой о чем; любил между делом побывать на базаре; о праздниках храмовых любил погулять в соседних деревнях и у себя в такие праздники вдоволь угостить хорошего человека чем бог послал.

Так прошло года три — и обжился совсем Трифон на родине. А тут произошла значительная перемена в отношениях его к односельцам.

Как-то летом владелец сельца Пересветова Иван Данилыч Одоньев жил-гостил в этом имении. Я сказал: «гостил» — недаром. У барина нашего «губа была не дура»: он был очень небогат, а все-таки не хуже больших бар любил понежиться и ничего не делать. Уж бог его знает, зачем он ездил иногда на житье в Пересветово: тут не было никакого господского хозяйства, да и в околотке жили такие соседи-помещики, хлебосольство и знакомство с которыми не представляло в себе ничего заманчивого. Пересветовцы совершенно понимали ненадобность и бесполезность деревенского житья своего барина, «Вот зачем опять припожаловал? — говаривали

они при его приездах. — В степную вотчину бы ехал, — а тут чего делать?.. Усядется теперь! — без него-то вое кабыть поваднее!..» Впрочем, Иван Данилыч ни в чем не был помехою для крестьян своих: жил он себе преспокойно, ни до чего не доходя; весьма в редких случаях даже разбирал он жалобы пересветовцев друг на друга; обыкновенно же отсылал их на суд старосты и мира. Вообще на жизнь, окружавшую его в деревне, жизнь тяжко-трудовую, темную и тесную, он обращал мало серьезного внимания, а если и взглядывал на нее, то мельком, случайно: ему казалось и того довольно, что крестьяне его в Пересветове были зажиточны. Вот и узнал он по случаю, что Трифон Афанасьев — мужик умный, бывалый и расторопный, по случаю тоже, нуждался он тогда в старосте, и случайно пришло ему в голову поставить старостою Трифона. Распоряжение это, хоть и случайное, казалось барину нашему как нельзя больше удачным, — но вышло не совсем так.

На первых порах родные Трифона, да и все почти крестьяне в Пересветове, очень обрадовались новому старосте. Все были уверены,

что он всегда и во всем будет им мирволить — и, как ловкий человек, барина тоже на гнев не наведет. Более же всех надеялись на Трифона сыновья его дяди Пантелея, — Максим и Никифор; они считали как бы правом своим ожидать от него всякого послабления. Однако как Максим и Никифор, так и прочие пересветовцы жестоко ошиблись в новом старосте.

С назначением в начальники сильно разыгралось в Трифоне честолюбие вместе с страстью к строгому порядку и справедливости. Он никому и ни в чем не делал поблажки, никому не спускал даже малейшей провинности. Так, Максиму и Никифору не простил он ни одной подводы, бабам их — ни одного аршина холста; а раз, застав Максима за воровскою рубкою в господском заказном лесу, так отпотчевал он двоюродного братца тут же, на месте преступления, что тот насилу домой доплелся. Надо заметить здесь, что Трифон Афанасьев особенно берег этот заказной лес, стоял за него как за свою собственность, и это было крепко не по нутру пересветовцам. И вообще новый староста провел над

всеми своими подчиненными уровень самой суровой власти. Намерения его были хороши, он действовал по строгим внушениям совести, — но уж чересчур требовательно во всем, даже в мелочах. Так, он хотел, чтобы крестьяне никуда и ни за чем не отлучались из вотчины без его спросу; чтобы никто в деревне шинков не держал и даже дома, про себя, вина не имел; чтобы с базаров мужики возвращались не пьяные; чтобы при встречах с ним непременно шапки снимали; а особенно — чтобы ни в чем не могли поперечить ему на мирских сходках.

Но община пересветовских крестьян, сыздавна состоявших на оброке, постоянно отличалась свободным духом в отношении своих старост, — а с таким старостою, каков был Трифон, они всего менее могли быть уступчивы: ни за что не хотели они покориться затейливым новым порядкам.

— Вишь ты, чего захотел! — говорили они промеж себя: — волю-то какую забрал!.. Пуще барина, словно белены объелся... Да куда те барин?.. а вот словно мы к Трифону Афанасьичу в кабалу попали!.. Ан нет! шалишь, ма-

лый!.. Ведь ты — наш же брат, крестьянин... Да чтой-то, ребята, мудрит он над нами? Коли теперича волю-то ему дать — в разор разорит!.. Вот так и поддалися мы ему!..

Однако до поры до времени пересветовцы ограничивались лишь такими рассуждениями и всякими уловками, чтобы обойти приказания старосты да надуть его в чем бы то ни было половчее: им как будто со всех сторон хотелось его испробовать. Между тем Трифон все крепче и крепче держался за учрежденные им порядки и жестоко наказывал провинившихся из-за них.

Так прошло опять два года — и скоро пришлось Трифону расстаться с сельской властью. Всех менее щадил он на миру своих родных, боясь, чтобы не заподозрили его в потаканье, а они-то пуще всех взъелись на него и, наконец, были причиною, что мир пересветовский избавился от строгого старосты.

Вот из-за какого дела восстали против него родные.

У Никифора Пантелеева была дочь невеста, которую он еще в прошлом году просватал за сына своего соседа, Василья Бочара.

Свадьбу отложили до вешнего Николы, потому что невесте года еще не вышли. Для верности договора положено было между сватами, Никифором и Васильем, что если кто отступится от своего слова, то повинен отдать другой стороне корову. Пришел срок, назначенный для свадьбы, — вдруг Никифор заартачился и на вопрос Бочара: «За что такая немилость?»

— А не хочу, — говорит, — не хочу, да и шабаш!.. Сын твой — такой-сякой, пьяница, мотыга, верченый, на стороне больно избаловался, просто разбойник стал!.. Вот не выдам-таки за него дочери!..

— Как же так! — возразил озадаченный Василий: — уговор у нас был... Уговор — лучше денег... Да и сын-от мой ничем, как есть...

— Ну, неча и баить! — закричал Никифор: — что ж! был у нас договор, — я не отрекаюсь — и бери вон корову... А дочери не отдам... Сын твой — пьяница, малый пропащий!..

Но совсем напрасно обидел Никифор Васильева сына, которого никто о сию пору ни в чем худом не заметил. Дело было в том, что

пока дожидались совершеннолетия невесты, присватался к ней другой жених, из чужой деревни, Иван Головач, которому дочь Никифорова очень полюбилась. Семья Головача слыла в околотке богатою, и сам Иван был парень ловкий и бывалый, хотя озорной, гуляка и чересчур рьяный. Он прельстил Никифора и жену его подарками и обещаниями, что дочь их будет жить за ним во всяком довольстве, «словно купчиха».

Такое вероломство Никифора крайне не нравилось Василью Бочару: безотменно нужна была ему сноха как работница в дому; сын его нарочно пришел со стороны для женитьбы; Василий таки порядочно уж исхарчился для свадьбы; да, наконец, и перед добрыми людьми было бы зазорно, коли б жениха так из-за напрасна охаяли; по всем этим причинам Василий отправился с жалобою к старосте, который сам находился на рукобитье и был свидетелем условия. Трифон велел тотчас же позвать своего двоюродного брата для очной ставки с Бочаром. Никифор явился как ни в чем не бывало: в этом деле, как семейном, а не барском и не мирском, он вполне

обнадеживал себя, что староста примет его сторону.

— Ты зачем от речей своих отказываешься? — спросил его грозно Трифон.

— А что ж, Трифон Афанасьевич, — отвечал с видимой робостью Никифор: — оно вот по делу-то выходит...

— Чего там выходит?

— Сын-то его больно озорноват, сказывают... Вишь, хмелем зашибается шибко...

— А врешь ты! Никто про него худа не сказывает... Так это, с ветру, ты сам выдумал... Я разве не знаю?.. Ты говори у меня прямо, а не виляй душой-то...

— Что ж, Трифон Афанасьич, — отвечал Никифор, сильно путаясь в словах: — барину ведь урона никакого не будет... Головачи за выкупом не постоят... Люди больно хорошие... И для тебя не постоят...

— Я те дам — хорошие! — закричал Трифон. — Какой хороший?.. Уж на что озорнее Ваньки Головача? Чай, во всем околотке не найти еще такого-то!.. Я те дам люди хорошие!.. Ты у меня и думать не моги!.. Коли свои женихи есть, так нешто след отдавать девок

на сторону?.. Я те сказываю, чтобы свадьба в воскресенье была!

— Да как же, — начал было Никифор.

— А вот как же! — возразил Трифон и, схватив двоюродного брата своего за волосы, стал таскать его по всей избе, приговаривая: «Я ведь начальник! я ведь начальник!.. Слушаться должен!.. Слушаться должен!..»

Наконец Никифор взмолился благим матом.

— Батюшка! — кричал он: — отдам дочь!.. Отдам!.. Хоть сейчас берите!..

Трифон выпустил его, а затем, дрожащим еще от волнения голосом, сказал ему следующее наставление:

— Ты что думаешь-то?.. что ты братом двоюродным мне причитаешься, так, значит, по твоему, и можешь каверзничать?.. Ан нету! ошибся!.. У меня никто спуску не жди!.. Барин меня старостой поставил, волю над вами дал, — так и слушайтесь!.. Ты что думаешь-то?.. Ты уж мне как надоел-то! Вот еще в чем замечу, да и отпишу барину, чтобы он тебя, мошенника, в Делюхино перевел... А там, брат, степная сторона, барщина, — с жиру-то

беситься не станешь!.. И вот ей-же-ей, право слово, коли так не сделаю!.. Больно уж вы оба с Максимкой мне надоели!

Свадьба Бочарова сына состоялась в следующее же воскресенье; но с этих самых пор ненависть Никифора и Максима к Трифону возросла до высшей степени. Особенно эта угроза о переводе в Делюхино бесила и тревожила их. Они решились, наконец, сжить с рук лихого старосту. Всего более хлопотал об этом Максим, человек, более брата своего рьяный характером и прежде всех задетый Трифоном. Оба они стали беспрестанно толковать на миру, что нельзя больше терпеть притеснений старосты, что следует барину жаловаться, что следует неотступно просить барина о смене старосты. Такие предложения пришлись по душе пересветовцам. Лиха беда начать дело, — вызвался принести первую жалобу от всего мира Максим Пантелеев, а там, коли дело сразу не выгорит, — вызвался быть ходоком к барину и Никифор. Написали втихомолку послание к барину и отправили Максима. В первый раз, как и предвидели, дело не удалось: барин с глаз согнал Максима; но мир

ведь упрям — и с этих пор жалобы на Трифона уже не прекращались. Чего-чего не делал барин, чтобы заставить пересветовцев уважать свой выбор! Между прочим, однажды он весьма убедительно доказывал им на общей сходке, «что если и палку вздумается ему поставить над ними старостою, — они и палку обязаны почитать и слушать». Однако крестьяне не убедились и от жалоб не унялись, а при всякой оказии все настоятельнее просили «ослобонить» их от Трифона. Одоньеву надоело, наконец, донельзя это докучанье — и он решился сменить старосту. Сделал он это не без сожаления.

— Что делать, Трифон, — сказал он: — я был доволен тобою, да вот на мир ты не угодил... На меня ты не пеняй, пожалуйста.

— Батюшка! — отвечал печально Трифон: — ведь хотелось, чтоб тоже порядки были...

IV

Это барское распоряжение чрезвычайно смутило Трифона; не того он надеялся за свою усердную, честную службу; он думывал иногда, что барин наградит его со временем вольною. Приуныл он крепко, — а старуха Афимья, которая до сих пор уважала в нем сельскую власть и мудрую барскую волю, не переча ему даже тогда, как он сам за что-нибудь выговаривал ей, опять стала нападать на него за то, что не умел старостой остаться, а особенно за то, что не умел нажитья.

— Да разве ты, леший, годишься куда ни на есть! — прибавляла она с презрением.

Соседи Трифона, которых крайне забавлял безумный гнев старухи, — смеху ради, а может, и из мести, — еще больше подстрекали ее, рассказывая всякие нелепости про сына. Скоро и еще прибавилась причина к ее ожесточению. Любила она чрезвычайно внучка своего Юшку, а этого внучка Трифон отправил на сторону, несмотря на все возражения и даже просьбы Афимьи. С этого-то разу повела она с сыном своим уже постоянную войну.

Бывало, не проснется он без брани с матерью, не пообедает, не поужинает, не ляжет спать без брани же с нею. Афимья чашку со щами ставит на стол перед ним с бранью и попреком. Афимья каши ему накладывает, тоже ругаясь, — за все про все раздор до ссоры... Вот однажды не вытерпел Трифон, — был он под хмельком на ту пору, — и, грешник великий, сам обругал ее и даже замахнулся на старуху-мать. К счастью, она проворно выбежала из избы и в ту ночь у соседей ночевала. На другой день Афимья ни за что не хотела простить раскаявшегося своего сына и отправилась жаловаться к новому старосте, который на ту пору собирался ехать к барину с оброком. Староста этот был один из наиболее недовольных Трифоном, и такой случай был для него находкою.

— Уж ты, тетка Афимья, не сумлевайся, — сказал он старухе в ответ на ее жалобу: — жив не хочу быть, а сынка твоего усмирим важно!.. Он нам во как насолил, — так уж ты не сумлевайся...

И точно: староста представил дело Ивану Данилычу в самом черном виде; налгал ему с

три короба, рассказав, что будто бы Трифон, после того как высадили его из старост, стал сильно вином зашибаться, а поэтому всякую почти ночь спьяну выгоняет мать свою из избы, и что будто вся деревня опасается, как бы уголовщина не вышла в Трифоновом доме.

Это очень удивило барина.

— Да ты не клеплешь ли на него, Ермил? — сказал он старосте.

— Помилуйте, батюшка, — отвечал Ермил, крестясь усердно, — да на сем бы мне месте...

— Ну, ну! — перервал барин и стал ходить по комнате в раздумье.

— Так как же ты думаешь, Ермил? — спросил он его наконец.

— А насчет чего, батюшка?

— Да вот насчет Трифона... Я, право, не знаю... Человек он не молодой, да и хороший мужик был.

— Прикажите, батюшка, на миру его наказать.

— То есть как же это?

— Да так, маненько розгами.

— Нет! я этого не хочу.

— И, батюшка! ведь его не убудет... А гля-

дишь — и поумнеет... Смирится эдак-то...

Барин опять позадумался. Ермилу было известно, что Иван Данилыч нраву нерешительного, но теперь, видя, что барин и об такой «мелочи» раздумывает да не решается, — он просто диву дался.

— Пускай мир рассудит хорошенько... — сказал, наконец, барин. — Если Трифон точно виноват, мир может назначить ему какое-нибудь наказание. Только ты, Ермил, скажи старикам, что я не желал бы розог.

— Слушаю-с, батюшка.

Тотчас же по приезде в Пересветово староста повестил всему миру, и старикам и молодым мужикам, чтобы собирались судить Трифона Афанасьева. С большою радостью сбежались все на эту сходку, даже немощные старики выползли, даже неуказных лет парни явились. Не таковский был староста Ермил, чтобы передать старикам последнее приказание барина, да не таковский был и мир пересветовский, чтобы он, в случае, где мог выместить на человеке свое неудовольствие, послушался неопределенного приказа барина, — если б оно и на полной сходке

было объявлено. Еще до призыва Трифона на сходку вырывались уже почти у всех такие выражения, из которых видно было, что ему, бедному, хорошего нечего ждать.

— Что, малой, — кричал один, — а надоть его беспрерменно... Унять надоть...

— Нами-то, вишь, крутил-мутил!

— Уж и черт ему не брат, — мудрен больно!

— А вот, ребята, постегать хорошенько...

— Знамо, ребята: пускай мир уважает!

— А то ведь как зазнался!

— Спесь-то надоть сбить... Он-то умен, он-то разумен!

Наконец позвали на сходку Трифона и Афимью. Первый явился бледен и взволнован; этот суд на миру смущал его гораздо более, чем суд полицейский в Питере при двух немаловажных случаях его жизни. Вторая же, даром что была дура набитая, пришла с приличной, смиренной кротостью, пришла, вздыхая и охая, как будто сейчас еще вынесла тяжкие побои.

— Ну вот, тетка Афимья, — сказал староста: — барин приказ со мной прислал: рассу-

дить тебя на миру с сыном-то.

— Касатики!.. Родимые! — завопила Афимья, — уж житья мне нет в дому!.. Измывается бесперечь. Терпела-терпела!.. А я ль его не родила, я ль не вспоила, не вскормила?.. Я ведь хлопотала, на сторону пристроила... А он-то, леший, пес эдакой!.. А он-то, разбойник, дом совсем кинул, ничего-то нам не давал, брал денежки, загребал, а нам хоть бы что; макова зерна не видали, чуть с голоду не померли!.. Жена-то его старый век мой заедала, а я все в доме делала, детей их призрела. Жена-то его уж такая была, а он хоша бы словечко за меня замолвил, все супротив! все супротив!.. Мочушки моей не стало!.. Головушка бедная!..

И, подложив руку под щеку, Афимья заголосила на всю улицу. Однако все эти жалобы и при всем предубеждении мира не в пользу Трифона должны были показаться ему уж чересчур несправедливыми: всем было известно, что Трифон был работник исправный и всегда с охотою пособлял домашним, что жена его покойница была баба пресмирная и безответная. Поэтому, выслушав Афимью,

судьи мирские молчали, изредка только в задних рядах схода кое-кто перешептывался. Между тем Трифон стоял, опустив низко голову, и, казалось, ни одного словечка не хотел вымолвить в свою защиту.

— Что ж ты молчишь? — прикрикнул на него староста, — отвечать должен!

— А что говорить-то мне теперича? — отвечал Трифон: — на суду мирском супротив матери говорить не след...

— Как же так! нет, ты говори!.. Сказано: отвечать должен, — возразил опять староста.

— Говори, говори! — раздались голоса в сходке.

— Бог видит правду, а больше нечего мне... Право, нечего молвить, — проговорил тихим голосом Трифон.

В толпе пошел глухой говор. Казалось, и вечная правда и здравый смысл начали уже действовать на предубежденных мирян. Но в эту самую минуту явился на сходку Никифор Пантелеев, только что воротившийся из лесу. Узнав, в чем дело, он стал кричать во все горло:

— Вы что, ребята, на него смотрите?.. Эх,

вы!.. Тоже суд судить собралися!.. Аль не знаете, каков есть человек? мало ль мудрил над всем миром! Мне вот что понаделал... Эх, вы!.. А ты, тетка Афимья, дело говори!.. Ну, что стала? аль все уж позабыла и речей не найдешь?..

И злобная баба снова пустилась причитать:

— Батюшки!.. Кормильцы!.. Разберите, заступитесь. Со свету сжил! ни одного денька не проходит, все-то меня, горькую, пилит-пилит, ругает-ругает, а онамеднись чуть было не убил... У добрых людей ночевала!.. А я ль не вспоила, не вскормила его? я ль за детьми его не ходила, я ль... Он ведь всем родным злодей!.. Мало ль я его останавливала, как он был старостою-то. Я за весь мир заступалася, да он, разбойник, слушать не хотел!..

Тут поднялся такой шум на сходке, что уж нельзя было и расслышать дальнейших слов Афимьи. Вся сходка напала на Трифона, все бранили его неистово, отовсюду слышались голоса, что наказать его нужно.

Не стану описывать мрачную сцену наказания. Не посмотрели на горькие мольбы

Трифона, не помиловали его, человека уже пожилого, человека, не видавшего никогда на себе такого срама; мир вдоволь потешился над ним, высекли его жестоко...

После этого происшествия тяжкая скорбь налегла на душу Трифона. В первые дни он сна и пищи лишился; места нигде не мог найти себе от тоски; унижительное наказание не выходило у него из ума; трудно и стыдно было ему на людей смотреть. Немало времени прошло, пока он пересилил свою скорбь душевную, но и осилив ее, он не успокоился. Он потерял бодрость духа, какое-то достоинство, проявлявшееся в его поступках; сделался молчалив, угрюм и, наконец, чтобы заглушить в себе горькую думу, стал мало-помалу испытывать с горя...

Однако он не сделался пьяницею. Его спасла от злого запойства любовь к труду. Эта любовь была в нем чрезвычайно сильна и живуща. Правда, он и не думал идти опять на сторону; но не слабела в нем охота находить себе занятия и трудиться не по одному только домашнему, крестьянскому делу. Он видел, что, и дома живучи, можно доставать себе прибыль хорошую, — он видел вообще дальше своих односельцев. Вот и вздумал он торговать лугами и снял несколько десятин помещного лугу в соседнем селе Боровом для распродажи в розницу; но дело это вышло неудачное: наемщики лугов убрали сено в дождливую погоду и, не стесняемые потерей малого задатка, отказались взять стога. Иван Данилыч Одоньев заступился было за Трифона и стал хлопотать об исполнении наемщиками условий, но оказалось, что все эти наемщики были помещичьи крестьяне, которым, без поручительства помещиков, можно было верить только на пять рублей ассигнациями. Трифон понес большой убыток, задолжал и

очень порасстроился, так что и деньги, подаваемые Ефимом в дом, не помогли ему поправиться как следует.

Между тем прошло еще несколько лет. Старуха Афимья, одряхлевшая и совсем обессилевшая, перестала, наконец, вести с сыном своим яростные ссоры и только, лежа большую часть дня на печке, бормотала себе что-то под нос. Хозяйством стала заниматься расторопная бабенка, жена Ефимова. Сам Трифон устарел, ему за пятьдесят перевалило. К этому-то времени, с тяжелым чувством недоверчивости к самому себе, отказался он, с лишком на год, от всякой промысловой деятельности.

Под конец же этого «прогульного» времени опять стал он приглядываться, чем бы таким позаняться. Скоро пример соседа Михея Савостьянова, старика лет шестидесяти и тоже вдовца, соблазнил его: он решился, с помощью этого доброго соседа, приняться за пчеловодство. Захотелось ему быть пчеловодом оттого больше, что, занимаясь таким делом, мог он удаляться от своих односельцев, которых он уж очень недолюбливал: унижитель-

ное наказание не выходило из его памяти.

А мысль о новом промысле пришла ему в голову в самую пору: только что весна тогда наступала, весна теплая и благоприятная для роения пчел.

Однажды утром Трифон отправился к Михею Савостьянову на пчельник, находившийся в версте от Пересветова.

Место это было приятное. От холодного северо-западного ветра защищала его густая березовая роща; саженьх в полутора с другой стороны находился прекрасный липовый лесок, спускавшийся по отлогому склону извилистой речки, берега которой были опущены темнолистыми ольховыми и светло-зелеными ивовыми кустами.

Самый пчельник Михея представлял собою рощицу из берез, липок, яблонь, рябин, черемух и других цветущих деревьев. Луг по речке был покрыт цветущими травами: душистым дятленником, зверобоем, медовой кашкою, и все это доставляло обильную пищу пчелам. Недаром Михей Савостьянов устроил себе здесь пчельник: кажется, во всем околотке не было места пригоднее.

Утро, когда Трифон пошел на этот пчельник, было тихое и жаркое. С самого восхода солнца начало парить. Иной раз солнышко заволакивали прозрачные нити весенних, скоробегучих облачков. Кой-где, в местах пониже, над речкой, над озерками, курился легкий пар; то там, то здесь по краям горизонта протягивались светлосиние дождевые полосы, и гром глухо, отрывисто, как будто гневно гремел в этих летучих тучках, быстро появившихся и так же быстро исчезающих. По временам сияние солнца ярко освещало иные места холмистой окрестности, а над другими в ту же пору бежали легкие тени. Над всею окрестностью и тени и лучи света играли в живых переливах.

Работа у пчел на Михеевом пчельнике шла живо и усиленно: они спешили воспользоваться до дождя роскошной данью цветов и растений. Гармонично жужжа, быстро сновали они по лугу; но такое ж движение было заметно и на самом пчельнике, где пчелы могли найти себе тоже много пищи.

Тихой поступью похаживал промеж ульев Михай Савостьянов, старик приземистый,

широкоплечий и худощавый, — старик седой как лунь, но еще бодрый, с живыми, светлыми глазами и даже с легким румянцем на щеках. В руках у Михея не было курилки, голова его ничем не была покрыта. Пчелы беспрестанно садились ему на загорелую шею, на худощавые темные руки, на лицо — и не жалели его.

Входя в дверцы пчельника и увидав Михея, мирно занятого делом, Трифон внезапно почувствовал в душе горькую зависть, и тотчас же потом грустно стало ему.

— Бог в помочь, Михей Савостьяныч, — сказал он, подходя к старику.

— Милости просим, родимый, — отвечал радушно Михей.

— А я к тебе... За дельцем пришел...

— Ну, что ж, сказывай.

Но Трифон не тотчас стал говорить. Он исподлобья осмотрелся кругом, как будто опасаясь, чтобы кто-нибудь не подслушал их разговора, опустил угрюмо голову и словно позадумался.

— Что ж ты, сосед?.. сказывай, — повторил Михей, глядя с участием на пригорюнившегося

ся Трифона.

— Надоть бы мне, — начал печально Трифон, — надоть бы опять за дельцо какое приняться... От чужой стороны я уж отстал; зачем идти туда теперича?.. Что, Михей Савостьяныч! поздненько прежнее дело начинать сызнова... Дома-то хотелось бы делом позаняться... Да вот удачи все нет!..

— Богу надоть молиться...

— Оно, знамо... Да я, кажись, тово... А все, вишь, дело мое впрок нейдет...

— Что ж делать, Трифон Афанасьич... Воля божья!.. А ты все молился... Богу молиться — вперед пригодится.

— Вот я, Михей Савостьяныч, к тебе пришел... Как ты мне скажешь: пчелок не завести ль мне?

— А с божьей помощью! Дело доброе; на что лучше?

— Коли ты советуешь, так и помоги по соседскому делу. Право слово, вот те Христос! по смерть не забуду.

— Отчего ж не помочь?.. Пошли господи, чтоб дело-то в руку шло!.. Возьми улейка три, да что тут! пожалуй, и пяток возьми на раз-

живу, а разживешься, отдашь.

— Спасибо, Михей Савостьяныч!.. Дай тебе господи во всем-то удачу, — сказал обрадованный Трифон: — да уж ты укажи, как и дело делать.

— А пожалуй, и поучу тебя... Дай только господи, чтоб в руку шло.

С этих пор Михей Савостьянов стал от всего сердца помогать Трифону. Указал он ему местечко хорошее для заведения пчельника — в стороне от своего пчельника, возле самой липовой рощицы; помог ему в ту же весну насадить ветел вокруг избранного места и огородить его; указал, каких кустов насадить и каких трав засеять; подарил из своего сада целый десяток молодых яблонь и дал на разживу пять колодок пчел. Скорехонько пошло в ход новое «дельцо» Трифона.

И точно: с легкой руки Михеевой оно пошло хорошо. На третью весну у Трифона было уже около тридцати ульев. Однако и такой успех не удовлетворял его. Скорая удача нового предприятия, разжигая в нем желание сколь возможно более усилить дело, которым он теперь занимался, пробудила в душе его

старые надежды. Стал он страстно рассчитывать, что годков через пяток может выйти у него колодок полтора; что продаст он тогда меду немало; что, наконец, и с лишком сотню колодок можно будет продать, — а таким образом выручится столько денег, что он может и откупиться со всей семьей — да, кроме того, останется еще довольно пчелы и впредь на разживу. А откупиться он желал больше прежнего: уж крепко не любил он своих односельцев; необходимым казалось ему расстаться с ними навсегда.

К осени он продал меду пудов с восемь. С какою радостью получил он деньги за этот мед! На ту пору и сын доставил ему в дом больше обыкновенного. Дела Трифона пошли отлично. К зиме он уже задумал такое дельцо, которое, по расчету его, должно было принести ему особенную пользу. Еще осенью же съездил он к барину и выпросил у него другое местечко под пчельник, гораздо попросторнее, именно возле березовой рощицы и как раз за пчельником Михея Савостьянова. Тогда же стал он готовить это место на весну: насадил всяких деревьев, кустов и растений.

Несправедливость людская, от которой так много потерпел Трифон, вредно подействовала на его нравственную сторону; он утратил большую часть совестливости, которою отличались прежде его действия. Так и теперь пришел ему в голову лукавый помысел: когда увидал Михей работы Трифона, он сказал ему:

— Как же это, родимый, — никак ты сюда хочешь пчельник свой перенести?

— Точно, Михей Савостьяныч, — отвечал Трифон: — барин позволил...

— Эко дело! — продолжал Михей, — оно, пожалуй, и неладно будет...

— А что так?

— Да как же!.. Либо моя пчела станет забивать твою, либо твоя мою... Ведь, вокруг Петрова дня, будут все летать в липовую рощу...

— Э, дядя Михей, ничего это, — ну, там разберемся как-нибудь.

— А нет, Трифон Афанасьич!.. Нам бы лучше по-божьи... Ты уж лучше оставь это дело...

— Как бы не так! — возразил грубо Трифон, — барин мне позволил, — так тому и быть!.. Благо, позволил!..

Михей Савостьянов ничего не сказал больше и ушел домой закручинившись, а Трифон в ту же осень соорудил себе такой пчельник, что любо было посмотреть.

Теперь у Трифона было свободных сотни три-четыре рублей ассигнациями, вот он и порешил: прикупить у соседних пчеловодов еще колодок под тридцать и к весне выставить пчельник, почти равный Михееву. Так он и сделал. Весною на его новом пчельнике деревья так хорошо принялись, что ни одно не погибло и все оделись богатой листвою. Трифон выставил колодок под шестьдесят.

Между тем у Михея Савостьянова дела шли плоховато. Прохворал он чуть не во всю зиму. Не было у него людей таких знающих и разумных, которые, постоянным уходом за пчелами в омшанике, сохранили бы их в хорошем положении и подготовили бы им благополучное появление на свет божий весною. Много потерял Михей по причине своей болезни. Весною он мог выставить ульев лишь около сорока. Это обстоятельство восхищало Трифона; недобрая радость особенно обуяла его, когда он подметил, что его пчела гораздо

сильнее пчелы Михеевой. На его пчельнике шум пчелиный был густ, ровен и громок; он отзывался такою здоровою, сильною жизнью, а на Михеевом пчельнике пчела гудела жиденьким голоском, прерывисто, как-то вразбивку.

По несколько раз на дню навещал Трифон пчельник соседа, который встречал его с явной неохотою, а сам к нему ни за чем не заходил; и всегда при этих посещениях сердце Трифона переполнялось гордым торжеством.

«Наша взяла! — рассуждал он сам с собою, — изловчился я сразу, — ан дело и выгорело. Право слово, можно будет откупиться!.. А Михеев-то пчельник так и тает, так и тает, — и роятся плохо, и берут — не берут... Пожалуй, и прогорит он скорехонько. Оно бы и жаль, — да ведь был его черед, был да и сплыл... Ну, и плох он пчелинец-то...»

Раз как-то пришел и Михей на Трифонов пчельник.

— Здорово, дядя Михей, — сказал ему весело Трифон, — ну, вот и ты ко мне зашел... Все ли подобру-поздорову?

— Слава те господи! бог грехам терпит, —

отвечал Михей: — а я к тебе, Трифон Афанасьич... По-соседски...

— А милости просим... Право слово, рад тебе. Вот погляди-ко на пчельничек мой... Ну что?.. живет?..

— Пчельник твой — очень хорош... Только уж тово... Пчела-то твоя больно озорная...

— Вишь ты!.. А почему так?

— Я затем и пришел к тебе, Трифон Афанасьич... Ты уж бога побойся!.. Надо бы нам жить по-соседски, по-божьи...

— А как бы это по-соседски да по-божьи? — возразил, уже довольно сердито Трифон: — я-то как же живу?.. Знамо, никого не обижаю — и тебя тоже; ну, чем таким тебя избидел?

— Нету, родимый, — отвечал Михей: — больно ты меня зобидел... Вспомни-ка... Помог я тебе дело начать, — право слово, по душе помог... А ты теперича что со мною сделал... Озорною пчелой мою пчелу забиваешь!.. Что ж, Трифон Афанасьич, ведь не по-божьи...

— Да я-то чем причинен?.. Неча греха таить: пчела, вишь, у тебя больно слабосильная...

— А то рассуди: ноне моя пчела слабосильна, а на лето, пожалуй, и твоя ослабеет... Ведь она урочлива... Ну, что хорошего, как мы друга друга поедом будем есть?.. Ты уж, родимый, поправь дело...

— Как это поправить?..

— Дело немудреное... Захоти только... А вот возьми да перенеси пчелу свою на старое место.

— И думать не моги!

— Трифон Афанасьич! в честь прошу... За что меня, старика, обижать будешь?.. Я ведь тебя ничем не избидел...

— Сказано — и думать не моги! — возразил с ожесточением Трифон: — ничего не сделаю, — вот те Христос!.. Вишь ты!..

— Ну, бог с тобою! — отвечал печально Михей: — только господь накажет тебя! На чужом добре не раздобудешься — помяни мое слово...

— Проваливай!.. Проваливай!..

И Михей ушел. На другой же день стал он приискивать, куда бы перебраться со своего любимого пчельника. Скоро он нашел местечко у дьячка приходской своей церкви, ко-

торый за пару целковых дозволил Михею поставить пчел в его садике до тех пор, пока повезет он их на гречиху. Прискорбно было Михею покидать свой уютный, укромный уголок, этот пчельник, в котором лет пятнадцать сряду трудился он честно. Но невольно сгрустнулось и Трифону, когда он увидел, что Михей не на шутку задумал оставить «обсиженное» место, что он покидает свой пчельник через него именно. Совесть заговорила в Трифоне. Он не вытерпел, пошел к соседу и стал уговаривать его остаться.

— Ну, что пустое толковать! — отвечал старик: — ведь ты-то не переедешь на старое место... Что ж!.. Вот, кажись, и просторное место было, а смотри-кось, нам с тобою тесно стало. Оставайся ты здесь, а я найду уголок!..

И старик не захотел дольше слушать речей Трифона. Плюнул Трифон и прочь пошел, бормоча сердито про себя:

— Вишь ты, какой нравной!.. Словно барин-помещик... Не стоворишь, и никаких речей не принимает! А и то молвить: была бы честь приложена, а от убытку бог избавил. Эка важность!.. Да вот постой маненько... Как

бы не пришлось Михею Савостьянычу и к нам прийти за помощью... Может, вот как станет кланяться?.. А коли придет, — что ж! — и я помогу... Мы теперича в состоянии...

Следствия всего этого были очень неприятные для бедного Михея. Весь почти пчельник его уничтожился; к осени осталось у него только колодок десять, да и то плохих, тощих. Между тем и у Трифона к осени оказались дела не совсем хороши: потери, правда, не было, но и прибыли вышло мало. Как только Михей перебрался из соседства Трифона, пчела Трифонова плохо стала брать отчего-то. Потом с конца мая пошли сильные дожди, которыми забило много пчелы; весь июнь и половину июля стояла погода, неблагоприятная для роения: холодная и с сильными ветрами; добыча на гречихе тоже была дурная, и, наконец, — осень несвоевременно рано настала. К осени пчела Трифонова оказалась слаба и тоща. Но, увлекаясь своими задушевными планами, не имея притом настоящей опытности в пчеловодстве, Трифон решился пустить в зиму всю пчелу, которая осталась за выломкою меду. Последствия вышли печальные:

слабая пчела не вынесла продолжительной зимы и плохого продовольствия. К следующей весне у Трифона оказалось только тринадцать колодок, годных на выставку, — столько же почти, сколько было теперь и у Михея. А затем в какие-нибудь два года и все его пчеловодство дотла извелось.

Погрешил он понапрасну против доброго соседа. И грех взял свое: въялся он глубоко в сердце Трифона.

VI

Много был опечален Трифон последнею неудачею. Да и как было не сокрушаться ему? В его года гибель заветных надежд, гибель перед самым их осуществлением, является особенно страшною.

Раза два-три порывался он пойти за помощью к Михею Савостьянову, у которого дела опять стали поправляться понемногу, но горькое сознание вины своей перед соседом, своей черной неблагодарности не допустило Трифона до этого. И остался он опять без дела.

Но беда одна не живет, — одна беда вызывает всегда другую; когда встает волна на мо-

ре, идут за нею другие, еще более страшные волны. Так случилось и с Трифоном.

Не успел он еще привыкнуть к мысли, что последний труд его пропал безвозвратно, как новое несчастье окончательно поразило его: сын его Ефим умер на стороне. Недолго хворал он, бедняга, и с самого начала болезни предчувствовал смерть. Перед концом попросил он какого-то знакомого грамотея написать домой письмецо; слезно прощался он со всеми родными и наказывал им долго жить.

О, как горевал Трифон! Все на деревне, мужики и бабы, вчуже жалели о нем, все утешали его. Тяжкое положение Трифона всем бросалось в глаза: сам он — уже старик, мать его — старуха, обезумелая от старости и немощи, сын — малоумный, дочь — калека да две внучки, дочери Ефима, одна трех лет и другая меньше году, и на весь дом одна только настоящая работница, вдова Ефимова...

И стал беднеть Трифон с каждым днем, стал беднеть не по дням, а по часам. Некому было исправить, как надо, нужд домашних; подмоги неоткуда было ждать. Хоть бы внучка маленького дал бог на утешение, внучка,

который, глядишь, годков через десяток эдак поднялся бы на ноги: сначала подсоблял бы по домашнему делу, а там и на сторону можно бы его отпустить... Совсем осиротел Трифон, а у него на шее обуза немалая.

Слышал я от одного барина присловье, объясняющее, по его мнению, пословицу: «На Руси святой с голоду не умирают» — вот какое это присловье: «Русский мужик — что ракитовый куст, как ни стриги его, он опять обрастет...» Может, оно и правда в земле нашей, где водится так много всяких диковинок, только к Трифону это присловье не подходило. обезполел он, горемычный, совершенно и во всем. И он потерял бодрость духа. Дума его, до сих пор почти беспрестанно подзывавшая его на новый труд, манившая надеждами, дума эта, прежде столь плодовитая, теперь стала твердить ему ежечасно, что незачем уже трудиться, что не на что надеяться, что впереди лишь — нужда да смерть.

Тотчас же после смерти Ефима барин освободил Трифона от оброка, от подвод и от всяких податей; но и это не помогло. Года в два перевелись у него все деньжонки, накоплен-

ные от пчеловодства и от заработков Ефимовых.

«Где тонко, там и рвется» — скоро и сам Трифон стал усиливать свое разорение невоздержанностью: принялся он опять за винцо, за пьянство, хоть и не безобразно, а все-таки частенько. В это время случилось с ним происшествие, доведшее его до гибели душевной.

Трифон не любил пьянствовать дома и у себя на деревне; любил он выпивку в соседнем огромном селе Боровом, где по субботам бывают базары. Всякую субботу отправлялся он в Боровое. Не было у него там никакого дела: продавать было нечего, да и покупать не на что, а он все-таки постоянно ездил на базары. Он был мастер великий присоседиться к какому-нибудь пьянице и «погулять» на чужой счет. Только та беда, что и для такого мастерства приходилось делать издержки: надо было и самому поднести иной раз хоть один стаканчик. Стаканчик за стаканчиком, деньжонки-то и уплывали, деньжонки последние, истинно кровные. И Трифон не жалел их; он считал нужным пить, чего бы то ни стоило, — он пил теперь истинно с горя; во время пьян-

ства горе легче становилось; нужда, столь близкая к нему, не так уже страшила его; смерть, тоже близкая, казалась желанною гостью.

Скоро Трифон нашел себе в Боровом приятеля, деревенского портного Савелья Кондратьича, дворового человека соседнего помещика, который прогнал его от себя давно уже за пьянство; с ним-то он всего более пил-гулял. Савелий Кондратьич, — человек лет уже слишком пятидесяти, высокий, сухопарый, легкий на ногу, — был горчайший пьяница. Все, что ни добудет, бывало, работая без устали чуть не целую неделю, пропивал он в субботу (базарный день) и в воскресенье, да так пропивал, что зачастую и опохмелиться в понедельник было не на что. Много труда, нужды, поря перенес и переносил на своем веку Савелий — и никогда не унывал. «С меня что кому взять?.. да и мне об чем таком кручиниться?.. вольная птица!..» — говаривал он сам про себя. Беззаботно трудился он, как умел, балясы точил за работою, пел во все горло, а пропивал труд свой еще беззаботнее. Хороший человек был Савелий Кондратьич.

Одно только и было в нем не совсем хорошо: в хмелю бывал он беспокоен, не то чтобы задорен и буен, а уж чересчур болтлив и суетлив. С ним-то сошелся и очень подружился Трифон. С год были они друзьями закадычными, оттого больше, что сначала как-то ровно всегда пьянствовали; но к концу этого года Савелий Кондратьич плох стал оказываться; чересчур уж скоро пьянел, а иной раз «до чертиков» допивался.

Однажды Трифон много попрекал его за эту последнюю способность.

— Ну, что ты меня попрекаешь? — возразил Савелий Кондратьич. — Эх, брат Триша!.. Ну, зачем ты попрекаешь меня, слабого человека?.. Вот погоди... Как бы, брат, хуже чего с тобою не вышло...

И точно, скоро приключилась с Трифоном премудренная оказия.

Раз, — это было в конце сентября, — ехал он домой из Борового, нисколько не пьяный, а только немного навеселе; приятеля его Савелья Кондратьича не было на ту пору в Боровом, а ни с кем другим не похотелось Трифону выпить лишний стаканчик. Дело было к

вечеру. Солнце только что село в небольшой темной тучке, края которой ярко еще золотила заря. Сквозь тонкие, в виде тумана, облака, заволакивавшие во многих местах бледноголубое осеннее небо, недавно народившийся месяц тускло глядел на окрестность. Путь Трифона шел по широким лугам села Борового, начисто вытравленным тогда скотом, ходившим по отаве[1]. Легкий и зыбкий туман кой-где стоял над этими лугами. Сквозь туман просвечивала местами темносизая, как хорошо закаленная сталь, полоса захладавшей большой реки, которая влеве прихотливо извивалась в бугристых песчаных берегах.

Трифон ехал, потихоньку, нисколько не понукая тощую свою лошаденку, ехал и думал невеселую думу.

«Эх! — думал он: — иным-то людям счастье какое!.. Вот хоша бы Зот Гордеич: приехал из Загорья на таком коне, — по базару давеча расхаживает, — и кто-кто не снимает перед ним шапку!.. И я тоже снял, — провалиться бы ему!.. Так уж на белом свету испокон, чей, веку повелось, — знамо, богат человек, ну и кланяются. Никто в народе его не любит, —

больно лют и не жалостлив, а поди-кось, как почитают!.. Вон, я честно жил и работал, — чего ж такого нажил-то? кошель на шею нажил, да не себе одному, а всей семье!.. Господи! семья моя!.. А Зот Гордеич, сказывают, куда легко большие деньги добыл... Добыча эта, ох, добыча!.. И добро бы умен был Зот Гордеич, да во всем-то ему удача была, и обманывал, и обкрадывал, и нажимал все с удачею, — воля какая ему теперича!.. Вот и почитают его, боятся... Эх! хоша бы годик-другой пожить хорошенько!..»

На последней мысли дума Трифона оборвалась: телегу вдруг сильно потрянуло, чуть не опрокинуло. Он взглянул вокруг себя. Месяц совсем заволокло: только малое желтоватое пятнышко осталось от него в белых, плотно скученных облаках. Впереди, и уже не так далеко, Трифон увидал небольшую черную полосу, резко отделяющуюся от туманного горизонта и от темного пространства лугов без травы: то было сельцо Пересветово, с его садами и пчельниками.

Но тотчас же потом показалось Трифону, что вдали, на самом краю горизонта, встают

словно волны какие-то... С испугом он стал всматриваться — и почудилось ему: далекие волны эти тронулись и покатались в его сторону... Вот они всё ближе и ближе, вот затопили окрестность; луга потеряли свой темный оттенок и покрылись тускло светящимися рядами шибко бегущих волн... Замерло сердце у Трифона. Ему уж казалось, что телегу его заливают водою; что волны так и рвутся упасть на него, слиться над ним, что он должен непременно утонуть...

— Эй, постой-ка, брат!.. Эко диво!.. Стоит на коленях в телеге, озирается во все стороны, а ничего не видит, — произнес вдруг человек, очутившийся как раз с правой стороны телеги.

— С нами крестная сила! — вскричал Трифон, дрожа всеми членами.

— Да что ты, брат?.. словно ошалел совсем!.. Аль больно заспался?.. А то, может, хлебнул больно через край? — сказал встретившийся человек.

— Тьфу ты пропасть! — молвил, наконец, Трифон: — да это ты никак, Савелий?..

— А ты как бы думал?.. знамо, я, а не ле-

ший аль водяной.

При этих словах Трифон опять задрожал, перекрестился и осмотрелся кругом; но видения уже не было — волны исчезли. Пересветово было видно как на ладонке; огни мелькали в избах; собаки во всех дворах заливались звонким лаем.

— Диковина приключилась! — сказал как бы про себя Трифон.

— Что, брат, такое? — спросил любопытный Савелий Кондратьич.

— Опосля скажу... Ты куда, Саввушка?

— А ночевать в Боровое.

— И! что такую даль ночью... Поедем ко мне лучше, у меня ночуем.

— Ну, что ж! пожалуй, поедем. Я и то хотел было давеча у тебя заночевать, да не застал тебя дома.

Прятели скорехонько добрались до Пересветова. Между тем небо потемнело; густой туман встал над болотистыми озерками и над рекою, совсем закрыв ее и бор, примыкающий к селу Боровому.

VII

Когда Трифон и Савелий Кондратьич вошли в избу, Анна, вдова Ефимова, сказала полусшепотом свекору:

— Бабушке Афимье труднехонько... С чего-то вдруг подеялось... Все металась на печке, больно стонала... А теперича знать полегчело, словно заснула, да все тяжело таково дышит...

— Ну!.. — произнес задумчиво Трифон.

— А как бы не померла за ночь-то? — молвил Саввушка.

— Нету! — отвечал Трифон: — она завсегда так-то с самой осени, да и зиму... Знамо, человек старой, чай все кости болят...

— А что, малый? — потихоньку и будто робко спросил Савелий Кондратьич у Трифона: — не пойти ль, тово, к Арине... Выпить бы надо маненько... Вот, вишь, у меня полтора целковеньких есть, — за работу в Мишине получил...

— Нету, в шинок не пойду, — утрюмо возразил Трифон.

— А сюда бы... Тово... Можно? — умильно

спросил Саввушка.

Но Трифон ничего не отвечал на этот умильный вопрос.

— Что ж ты? — продолжал Саввушка, — да!.. Может... Тово... Помирать она собралась?

— Наладил с одним! — сердито отвечал Трифон: — сказано, что завсегда так к осени.

— Ну, и то так... Я теперича пойду к Арине. И Саввушка вышел.

Через минуту старуха Афимья громко и протяжно простонала. Трепет обдал Трифона, когда он услышал этот тяжкий стон. Анна проворно бросилась на печку к старухе, и в то же время показалась с полатей косматая голова полоумного Мишутки; он смотрел вниз, уставив на отца огромные, безжизненные глаза навывкате.

— Невестка, касатка, — промолвила на полатях глухим полушепотом дочь Трифона Аграфена; — никак бабушка...

И она заплакала, громко всхлипывая. Слова Аграфены с пронзительной болью отозвались в сердце Трифона.

— Что там еще! — сказал он тихо, но очень сердито, — эка дура! ничего не видя, хнычет...

Словно махонькая.

Груша тотчас же замолкла и притаила даже дыхание; в то же мгновение спряталась и голова Мишутки: в доме все очень боялись Трифона; со времени последних несчастий своих он стал к семье суров чрезвычайно, даже до жестокости.

Скоро спустилась с печи Анна.

— Ну? — спросил Трифон.

— Кажись, спит, — отвечала она.

Между тем прошло много времени, а Савелий Кондратьич все еще не возвращался. Трифон, однако, не замечал этого. Он был весь погружен в печальные мысли. Опять смерть стучалась в дверь его дома — и новая забота вставала опять для него, забота похоронить старуху: ведь на похороны да на поминки нужны расходы немалые. В избе же было все тихо, так тихо, что всякий звук можно было различить, явственно слышно было и ровное сопенье Мишутки и прерывистое дыхание старухи, тишину эту нарушало лишь изредка резкое вскрикивание сверчка под печкой.

Но, наконец, воротился и Саввушка. Тихонько отворил он дверь, просунул в нее свое

узенькое рыльце и визгливым шепотом промолвил оттуда:

— Триша!.. А Триша!.. Идти, что ль?..

— Да иди, провались ты! — отвечал вполголоса Трифон.

— А тетка-то... Тетка Афимья?.. Жива аль тово: померла уж?..

Зло взяло Трифона.

— Ах ты, леший, пьяница!.. Право слово, надоел до смерти, — проговорил он с ожесточением.

— Ну, ну... Ты, Триша... за что? не ругайся! вот вишь... Иду, иду...

И Саввушка вошел в избу, сильно покачиваясь. Бережно, словно клад какой, держал он за пазухой штоф вина; правая рука его лежала на драгоценной ноше, крепко прижимая ее к груди. Видно было, что Савелий Кондратьич не потерял даром времени: лицо его горело как маков цвет, а нос пылал словно полымя: глаза были сильно навывкате. Медленно заплетая ногами и ныряя беспрестанно всклокоченной головою, подошел он к столу, за которым сидел Трифон.

— Важно успел нахлюстаться, — сказал

Трифон с презрением.

— А, а! что ж такое? — лепетал Саввушка. — Триша... Ведь на свои денежки... Кровные свои... Ну, и тово... Да ты не тужи, брат... Вишь, целый штоф? целый штофик принес! поживем, Триша...

— Эх, ты!..

— Триша!.. Слабый я человек... Человек, то-ись, божий... А никого не избидел... Вот ей-же-ей! никого как есть... Смирный человек... И у господ служил... И то синя пороха...

И Саввушка — человек, показывавший во время пьянства большую чувствительность — горько заплакал. Но через минуту слезы его иссякли.

— Триша, — вдруг спросил он, заикаясь: — а тетка Афимья?..

— Перестань поминать про нее! — грозно вымолвил Трифон.

— Ну, ну, не стану, — сказал пьяница. Потом уселся он у стола, поставил штоф и возле него два стакана, один большой, квасной, а другой маленький, — и умильно улыбнулся.

— Родимый, милый ты человек! Триша! — залепетал опять Саввушка: — ты смотри-ка,

не избидел тебя, выйдет, вот же ей, поровну; у Арины-то, с хорошим человеком, не утерпел... Да, вишь, достал стаканчик-то один, смотри какой! это — тебе, брат Триша, а мне махонькой! а мне махонькой!..

Трифон ничего ему не отвечал; он сидел, опустя низко голову. А между тем Савелий Кондратьич и здесь не упускал времени: бормоча какую-то нескладицу, то громко, то шепотом, то с дребезжащим смехом, то с ребяческим плачем, он успел раз за разом вытянуть четыре стаканчика. Скоро голос его оборвался, он совсем осовел — и замолк. Так прошло с полчаса.

Но вдруг Савушка порывисто приподнялся с лавки, вытянулся во весь длинный, нескладный рост, несколько секунд пошатался, застонал пронзительно-визгливо, как будто сквозь сильно стиснутые зубы, закинул голову назад, медленно повел вверх левую руку, словно хотел схватить себя за голову, еще раз отрывисто взвизгнул — и тяжело свалился на пол, ударившись головою о косяк лавки.

Трифон и Анна бросились поднимать Савушку. Когда они положили его на лавку, он

был уже бездыханен; губы были раскрыты, и через них выставлялись крепко стиснутые зубы; в открытых глазах не светилось и слабого луча жизни; все лицо было синевато-багрового цвета. Из всех сил хлопотал Трифон около своего приятеля, и прыскал водой ему в лицо, и лил воду в рот, и обливал голову, и встряхивал его, но все было напрасно. С каждым мгновением все холоднее и окоченелее становились члены бедного Савелья Кондратьича. Но не хотелось Трифону расстаться с надеждой, что, может, он еще и не умер.

— Аннушка! — сказал он невестке: — глянь-ко ты, ради Христа... Авось он... Вот грех-то приключился!..

Анна долго тоже хлопотала около Саввушки, но наконец, она уверилась, что смерть его несомненна.

— Помер, — прошептала она, потом прибавила:

— Батюшка свекор... Взглянь-ко, вот у него на правом виске пятно какое-то...

И в самом деле, на виске у Саввушки было огромное темнобагровое пятно.

«Плохо дело! беда! — подумал Трифон. —

Пожалуй, становой привяжется... Откупиться нечем, сгниешь в остроге. Скажут — вместе пьянствовали — подрался, убил... Вишь, пятно проклятое!..»

Крепко позадумался Трифон. Наконец вышел он потихоньку на улицу. Ночь была темна и глуха. Нигде у соседей огня уже не было; все на деревне спали крепко, даже собаки, — ни одна из них и спросонья не тьякнула. Воротившись на двор к себе, Трифон и тут постоял да подумал. Потом подошел он к задним воротам, полегоньку отодвинул задвижку, еще тише принялся отворять их — и отворились они, нисколько не заскрипев. Заглянул он за ворота: на задах двора его было еще тише и глуше, чем на улице.

Трифон мгновенно теперь решился — и все, что придумал, сделал осмотрительно и осторожно. Тихо подмазал он телегу, тихо заперг лошадь, собачонку свою, привыкшую сопровождать лаем выезд его со двора, запер в хлевушек и затем проворно воротился в избу.

— Надо прибрать, — сказал он отрывисто Анне: — помоги снести его в телегу...

— Батюшка свекор! — промолвила трепе-

щущим голосом Анна, — как бы...

— Что там еще?.. Бери за ноги... Ну!..

И вдвоем они легко вынесли Савелья Кондратьича: он и тут легок оказался, если не на ногу, так всей своей особой. Трифон выехал в задние ворота. На его счастье ни одна собачонка нигде не залаяла: он выбрался из Пересветова благополучно. Путь его лежал не далеко. Он решился спровадить приятеля своего в реку, в том самом месте, где она очень глубока.

Как ни тверда была эта решимость его, — много страху он натерпелся дорогою. Его пугали теперь не опасения быть пойманным на таком страшном деле. Но ехать с мертвецом в глухую пору, чуть не в самую полночь, ехать по той же дороге, где за несколько часов перед тем являлись ему странные видения, — вот отчего беспрестанно дрожь пронимала Трифона и дыбом вставали волосы на его голове.

И все усиливало его страх. Беловато-мутная мгла, расстилавшаяся кругом, представлялась ему какою-то бездонною пропастью, в которую вот сейчас стремглав полетит он с

телегой и с безгласным своим седоком. Лошадка Трифона должна была идти тихо, как же бежать с покойником по кочковатой луговой дорожке? Труп Саввушки, с открытыми потухшими глазами, от которых Трифон не мог оторвать взора своего, труп этот, подскакивавший беспрестанно в телеге от толчков, ужасал его невыразимо.

Наконец он достиг того места, где предположил похоронить Савелья Кондратьича. Это был довольно отлогий берег большой реки, опушенный здесь густыми кустами ракитника; у этого-то самого берега было чрезвычайно глубоко. Тут был омут, который в иные трескучие морозы никогда не замерзал.

Бережно навязал Трифон на шею Саввушки большой отломок жернового камня, захваченный им с собою из дому; бережно спустил труп из телеги наземь и поволок его за ноги через кусты. А в то же время с тяжким ужасом смотрел он на темное лицо своего бедного приятеля; тоска мучительно сжимала его сердце. Но вот он на самом краю берега... Положил он труп ногами к реке и потихоньку стал подвигать его в воду... Наконец он со-

всем спихнул его...

В то же мгновение почудилось ему, что в кустах кто-то простонал тяжело... Не помня себя от ужаса, он вскочил в телегу и погнал лошадь что есть мочи.

Воротился он домой еще до свету, и так же незаметно, как выехал.

Все остальное время ночи он не мог уже заснуть. Душа его ныла; великая жалость к бедному Саввушке наполняла ее. Иной раз казалось, что он кинул в реку не труп его, но живого его, что он убил Саввушку...

Не спали в ту ночь и дочь его Аграфена и невестка Анна: тихо и робко плакали они о чем-то. Только Мишутка да две девочки, Аннины дочери, спали безмятежно: да, казалось, спит и старуха Афимья, дыханье которой к концу ночи сделалось ровнее и легче.

Когда же стало рассветать на дворе, Афимья опять отрывисто, громко простонала и вслед за тем завозилась на печке. Анна поспешила к ней. Было заметно, что старуха проснулась, — если только спала, — но глаз она не открывала.

— Бабушка, — спросила потихоньку Ан-

на, — испить не подать ли?..

— Не надоть, — отвечала Афимья густым и твердым голосом. — А пьяницу Савку куда схоронили? — вдруг спросила она так же громко.

Анна ничего не отвечала и только робко поглядывала на Трифона, а он, услышав слова матери, затрепетал всеми членами.

— Все слышала, — продолжала старуха, — куда же девали-то?.. а?.. ну, все равно!.. Аннушка! подай девчонок своих, Мишутку, Грушку позови...

Когда Анна подала к ней потягивавшихся сквозь сон девочек, Афимья положила им на голову костлявые, горячие руки, перекрестила их и приложила холодные губы к разгоревшимся щечкам малюток. Потом перекрестила она Мишутку и Грушку.

— Ну, ступайте, — промолвила она уже хриплым голосом, а через минуту прибавила чуть слышным голосом: — попа!..

Между тем Трифон подошел к печке.

— Матушка! — оказал он, — аль тебе больно тяжело стало?..

Старуха не отвечала.

— Матушка! — повторил Трифон дрожащим голосом, — аль помирать ты хочешь?.. Всех ты благословила... Меня не забудь... Благослови меня, матушка...

Но ответа не было. Трифон горько заплакал.

— Прости меня, Христа ради, — говорил он, — прости меня, окаянного!.. Наказал господь довольно... Благослови, как их-то благословила... Прости перед концом!..

Трифон обнимал и целовал ноги матери, брал руки ее, но она ничего не отвечала. Заглянул он в лицо ей и ужаснулся. Расширенные чрезвычайно зрачки горели сверхъестественным огнем и пристально, грозно смотрели на него. Почерневшие губы были крепко сжаты; тонкий нос обострился; в горле звонко бил «колоколец». Старуха была страшна несказанно.

Неотступно умолял Трифон мать свою о прощении, а она все не отвечала ему и томилась смертною мукою. Пришел священник. Он исповедал старуху «глухою исповедью» и причастил. Перед причастием он долго убеждал ее простить сына, дать ему благослове-

ние крестным знаменем, но старуха осталась непреклонна, и взор ее горел грозным огнем, когда устремлялся на сына.

И три дня так прошло, три дня страшных мучений для Трифона. Сна и пищи он лишился. Беспреданно просил у матери благословения — и все понапрасну.

Пересветовцы, одни за другими, навещали избу Трифона, глядели на старуху, покачивали головой, шептались таинственно промеж себя — и много жалели Трифона. Наконец некоторые из стариков и старух посоветовали ему поднять «матицу»[2] в потолке.

— А то, вишь, она не кончается... Душа не выходит, — говорили они.

Но Трифону не до того было, чтобы вслушиваться в разные советы; он почти обезумел от ужаса и от мучений душевных.

На третий день лицо старухи почернело. С утра стала она стонать без перерыву; «колоколец» бил в горле у ней уже неровно: то тихо, то громко. К полуночи стонала она так, что было слышно на улице и в соседних домах. А иногда стоны прекращались, и на несколько секунд как будто останавливалось и дыханье

ее. Конец Афимьи уже был близок.

За несколько мгновений до ее смерти Трифон, не уставший умолять о прощении, наклонился над самым лицом матери и, рыдая, стал опять повторять:

— Матушка... Прости, ради господи!.. Прости!.. Прости!..

— Прочь! — прошептала она для него только слышным голосом — и в ту же минуту испустила дух.

VIII

Трифон перенес страшные впечатления всех этих событий, но на некоторое время был поражен такой мрачной тоскою, что нельзя было видеть его без содрогания. Месяца два прохворал он в тяжелой болезни; крепкое, жилистое сложение его было надорвано душевным страданием. Однако все вынесла его натура. Через каких-нибудь полгода сгладились на нем наружные следы душевных мучений. Только для глубоко наблюдательного взора могли быть заметными резкие перемены в характере Трифона.

Он сделался чрезвычайно неровен во всех

своих действиях: иногда слезно жаловался всякому на свои несчастья, иной же раз, весь погруженный в мрачное уныние, словечка не хотел вымолвить ни с кем и ни об чем. На базары он перестал совсем почти ездить, — разве-разве понадобится купить для домашнего дела соли или другое что нужное; к соседям перестал тоже заходить; на праздники никуда уже не ходил и к себе не пускал; на мирские сходки сначала еще являлся, но когда спрашивали его о чем-нибудь, — бывало, рукой махнет да ответит: «А что тут?.. Как мир хочет!.. Мое дело сторона... Изба моя с краю, ничего не знаю...»

Когда же случилось ему услышать на сходке про какое-нибудь несчастье в соседстве, — например, про пожар, — он не присоединялся к общему хору сожалений, а всегда коротко возражал:

— Ну, сгорели так сгорели... Опять выстроются... Дело это поправное...

— Вишь ты, брат, как поговариваешь!.. А у тебя случися...

— Всего случилось, — отвечал, бывало, тихим голосом Трифон.

И, сказав слова эти, он уходил домой, повесив голову и ни на кого не глядя.

Наконец, даже по позывам стариков, он чрезвычайно редко стал являться на сходки: стал он все дома заниматься каким-нибудь пустым делом: то колышки какие-то, бывало, заостривает, то хворост обрубают для топки печи, то разберет какой-нибудь старенький хлевушок на дворе, и разберет-то его без надобности, да потом опять собирает...

Скоро мужики пересветовские начали как-то дичиться Трифона, избегали всяких разговоров с ним, перестали звать его не только на мирские сходки, но даже на крестины, на свадьбы и на другие пирушки.

— Словно какой «оглашенный» стал! — говорили они, рассуждая иной раз о Трифоне, — никуда, вишь, не ходит и в церкви-то редко бывает... Допрежь того был совсем другой человек: делом все хотел заниматься...

— В руку, видишь, все ему не шло.

— Да больно уж затейлив был!.. Оно бы по-проще... Ан и тово...

— И на базары частехонько ездил.

— А помнишь? с Саввушкой-то какие прия-

тели были!

— Как же! как же!.. Да, малой! поди-кось, пропал вот Саввушка, — инда ни слуху, ни духу...

— Да ведь, кажись, перед самой-то смертью Афимьи был Саввушка у нас в деревне! Сказывают, — у Арины с Васькой Лимавским пьянствовал, а вот опосля того словно сквозь землю провалился.

— Поспросать бы у Трифона: не заходил ли к нему в те поры!.. А то не ночевал ли?

— Эва! что его спрашивать? Вишь, какой он стал!.. Словно колдун настоящий!

— А и то молвить: кому нужда-то до Саввушки?.. Ни роду, ни племени у него. Помер, чай, спьяну, — и приняла его просто-напросто мать сыра земля...

О Савелье Кондратьиче, точно, не было никаких расспросов и разведываний. Он был безродный гулящий человек — и никто не заботился о нем. Лишь один Трифон часто о нем думывал.

В странной, но крепкой связи представлялись ему смерть и матери и смерть Саввушки; тайные похороны его в реке, с камнем на

шее, и трехдневное, страшное боренье со смертью старухи Афимьи; какой-то тяжкий стон в кустах после похорон Саввушки и неумиримая воля матери, ее последнее слово: «прочь!..»

При этих воспоминаниях, постоянно, чуть не каждую минуту грызших его, Трифон доходил иногда до такого отчаяния, что готов бывал наложить на себя руки — и наложил бы, может статься, коли б не привязывала его к жизни какая-то горькая жалость, какая-то слепая любовь к полоумному Мишутке. В минуты страшной тоски вспоминал он всегда не про жалкую калеку дочь свою, не про бедных маленьких внучек, а именно про Мишутку, который, однако, не показывал ему нисколько привязанности.

И с каждым днем росло также ожесточение Трифона. Он совсем удалился от знакомых своих, приятелей, родных. Стало невыносимо ему сообщество с людьми; невзлюбил он людей от всей души...

Раз как-то по зиме был он на базаре в Боровом. Искупив себе кой-чего для дома, а кой-чего нужного и не купив по недостатке денег,

он возвращался домой, полегоньку плетясь на своей тощей лошаденке. Ехал он и думал все о том, к чему душа его обращалась еже-часно, — думал о сыне, безвременно умершем, о матери, не простившей его перед концом, о Саввушке, без покаяния погибшем и похороненном в реке, может быть заживо...

Вдруг обогнал его вскачь, зацепившись за его сани и чуть не опрокинув их, крестьянин из деревни Загорья, Ларион Максимов, известный пьяница и приятель в прежнее время Саввушки.

— Эй, Кузька?.. разбойник! — закричал Ларион:— ты, брат, тово... Право, брат!.. Вот вместе бы... Ну, я маненько сосну... А ты уж тово...

Ларион тотчас повалился на сено в санях и крепко заснул; слышно было, как он всхрапывал. Лошадь его тихо шла по-дороге, за нею брела и Трифонова лошаденка.

И вдруг овладело Трифоном томительное чувство, до сих пор ему незнакомое; он весь дрожал, охваченный мрачным, тоскливым беспокойством: в голове его шумело, как от сильного угара. Какой-то странный голос стал нашептывать ему странные речи. И невольно

с тяжким замиранием сердца Трифон прислушивался к этим темным речам.

«Что ж ты!.. Чего смотришь, об чем еще думаешь?.. — говорил голос: — он не узнал тебя, Кузькой назвал!.. Никого нет ни впереди, ни позади... Снег порошит, глянь, как стемнело, — никто не увидит!.. Смотри-кось: тулуп-то новехонькой... один рукав свесился, волочится по снегу... А вон и мешки... Никто не увидит!.. Не бойся!.. Скорей только!.. Скорей!..»

Сам не помня уже себя, вылез он из саней своих, подошел к саням Ларионовым, взял тулуп, взял один из мешков... И, задыхаясь от страшного волнения, кинулся в сани, изо всей мочи приударил свою клячонку и ускакал стремглав домой.

Только подъезжая к Пересветову, опомнился он несколько и сдержал лошадь. Он чувствовал страшную головную боль и совершенное изнеможение во всем теле.

Между тем совсем уже смерклось; снег вялил хлопьями. Темно было на улице, когда Трифон въехал к себе на двор. С величайшею заботливостью зарыл он в сено тулуп и ме-

шок Ларионовы и не допустил невестку взять из саней мелкие свои покупки. Ночью он вышел потихоньку из избы и зарыл украденные вещи в погреб. Всю эту ночь он не спал и несколько раз выходил на двор и на улицу чего-то посмотреть, чего-то послушать...

Но этот ребячий страх, эта тревога души были не надолго.

С того разу стало манить Трифона беспрестанно к воровству; он быстро освоился с новым ремеслом своим и начал красть смело, дерзко, ничем не стесняясь, ничего как будто не страшась. С особенным, порывистым ожесточением предавался он пороку. Правда, рядом с этим ожесточением, делавшим его опасным врагом обществу, жила в нем неумолчная совесть. Ничем не мог он заглушить ее: голос ее часто терзал душу его страшными мучениями; но на беду ему уже недоставало сил духовных для того, чтобы побороть свое ожесточение. Горемычный старик видел гибель свою — и легко поддавался ей.

Вокруг себя он не мог найти помощь для восстания...

«Она прокляла меня, — думал он все о сво-

ей матери: — не замолишь... На том свете беспрерывно огонь вечный!.. Ох! доля моя пропащая!.. А дети-то?.. Мишутка!.. И они, может, погибнут... Бедность, нужда!.. Дай так еще поработаю, — хочу покудова пожить вольно!.. Они все супротив меня... Так я сам!..»

Темная мысль о мщении людям за какую-то страшную вину их против него безотвязно вертелась в голове Трифона и непрерывно подстрекала его на преступления. Он воровал, несчастный, не из мелкой корысти, а под влиянием страстною, жгучего желания делать зло.

Скоро в Пересветове заметили, чем стал промышлять Трифон, и все диву дались.

— Эка оказия! — говорили пересветовцы. — Вишь ты: на старости-то вот и воровать пустился!

— Диковина, малой!..

— Чего тут диковина!.. Ведь, чай, знаешь, каков человек? Мать при смерти прокляла!..

— А и то: ведь он, разбойник, бивал ее, сердешную.

— Слышь, ребята: как бы и у нас не стал приворовывать?.. Что тогда делать-то?..

— Да что?.. А барину можно...

— Эка!.. барину!.. Ну, что он сделает?..

— Авось, малой, и не станет нас забивать...

Пересветовцы после такого совещания стали обходиться с Трифоном очень осторожно. Встречаясь с ним, они не очень-то пускались в разговоры, зато всегда ласково кланялись, по имени и отчеству называли. Бабы же боялись его как огня. Они колдуном его считали и рассказывали про него странные вещи: будто, например, в доме его по ночам соседи слышали громкие голоса, а в полуночную пору видели самого Трифона бродящим вокруг двора. Грозной таинственностью стала облекаться в глазах народа личность Трифона. И он сам старался усилить в народе боязнь к себе, признаки которой подметил. В позднее ночное время бродил он иногда вокруг двора своего, пугая собак и заставляя их выть.

Между тем он занялся своим новым промыслом так хорошо, как будто весь век им занимался: ум его, всегда искавший деятельности, теперь опять усиленно работал. Трифон знал, что «один в поле — не воин», что «одно-

му и у каши не спору», — поэтому он завел знакомство с самыми ловкими ворами из неблизких деревень и часто принимал их к себе, никогда, однако, не позволяя им пьянствовать в своем доме. Вообще он хотел быть воровом не на мелкую руку, — зато в два-три года и прославился во всем околотке.

Но все, что добывалось воровством, не впрок шло ему, да он и не старался, чтоб был прок. Малую часть из воровской добычи он употреблял на необходимый в дому обиход, другую часть, побольше, — на покупку го-стинцев для внучек да красных рубах и нарядных кафтанов для Мишутки, затем все остальное из этой добычи шло на пьянство, хотя оно было и не по душе ему. С тяжелым принуждением принимался он за чарку и почти никогда не пьянел, сколько бы ни выпил. Он пил потому лишь, что во время пьянства заглушались его черные мысли и упреки совести да память тупела.

Кстати оказать здесь, что Трифон был очень счастлив в воровстве: почти всякой замысел его был удачен, да притом никогда и ни в чем он не попадался.

И мало было ему — воровать с товарищами, исстари знакомыми с опасным промыслом, — что-то подзывало его к тому, чтобы привлечь на свою сторону людей свежих, непричастных еще пороку. Так, в соседнем селе Мохове сделал он ворами двух мужиков и в самом Пересветове научил воровству молодого парня лет двадцати, Езыканку[3].

Езыканка был малый простой чуть не до глупости. Семья у него была огромная: мать с шестью малолетними сестрами и братьями, и он — один работник на всю семью.

Раз и сказал ему Трифон:

— Эх ты, малый — простота! пришел бы ко мне да поклонился, — а я сказал бы такое словцо... Научил бы тебя уму-разуму.

И точно, через несколько времени он научил Езыканку уму-разуму по-свойски: малый стал вором притоманным[4] и чрезвычайно преданным Трифону человеком. В последнюю беседу свою с Езыканкой, после которой парень этот всей душой ему покорился, вот что толковал Трифон:

— Ты, малый, губы-то не распускай, живучи на свете!.. Вот ты таперича скуден и мало-

силен, а помог ли тебе кто?.. Ни, ни! не моги и подумать о помощи!.. Помогай же сам себе!.. Глянь, — мужики в Загорье богачи какие! а поди-кось попроси у них малую безделицу на разживу — ни за что не дадут! А коли и дадут, так запрягут тебя в неволю-работу пуще лошади, загоняют до смерти, обочтут, обокрадут, наругаются... Нет! эдак-то лучше будет: под темную ночьку поудить у них по клетям... Ну, лошадки важные у них тоже, да мало ль что!.. Надо только умненько дело делать.

Не в одном Пересветове боялись Трифона; боялись его особенно в Загорье, на которое он всего чаще нападал; все его боялись — и только один молодой парень, Иван Головач, клялся-божился, что нисколько не боится Трифона, что рано ли, поздно ли, а изведет он его, разбойника.

Но Трифон, до которого доходили эти похвальбы и угрозы Головача, ничего не опасался. Он мог страшиться лишь самого себя.

Как ни занят был ум его замыслами новых краж, но тоска душевная не умалялась. Сна у него почти не было; высох он, как кощей; глаза ввалились; черные круги обвели

их и придавали им страшное выражение. Иной раз впадали ему на мысль мрачные представления о пожарах, в которых горели и с громом падали большие дома, о мертвецах с перерезанными горлами...

Уже начинало манить его на большое зло...

IX

Раз, в конце декабря 1849 года, Иван Данилыч Одоньев получил от своего переселенческого старосты Потапа Максимова следующее донесение:

«Ваше высокоблагородие, милостивые наши отцы и покровители, Иван Данилыч и Катерина Николавна. Заочно вашей милости кланяюсь. При сем посылаю за крещенский срок оброку, всего 981 руб. 50 коп., по „ересту“ с кого сколько. А Семен отказывается, говорит: денег нету, взять теперича негде, просит обождать до вешней первой путины, [5] а Василий Павлов сам отдаст, как поедет из Астрахани с рыбой; Федор уехал прежде к вашей милости. Еще осмелюсь доложить, ваше

высокоблагородие Иван Данилыч, а у нас в вотчине не вовсе благополучно; вот на одной неделе в третьи приезжают с обыском в деревню, к Трифону Афанасьеву. Как вашей милости угодно, воля ваша, — а нам житья нету, боимся, как бы всем не быть в ответе. Онамеднись сам становой был, говорит: „Худо, дескать, всю вотчину порочит“. А писарь станового так лается: „Вы, мол, все потатчики“. А обыскивали из Загорья. Ничего тут и не поделаешь! А Константин при всем мире и меня обругал, говорит, что я — точно потатчик, вашей милости не доношу. Уж тут мы, батюшка, все как есть пропадаем. У Трифона синя пороха не нашли, а слава про него худая. Ваш слуга староста Потап Максимов».

Прочитав вслух это донесение ровным и, по-видимому, спокойным тоном, барин встал с кресел, вытянул правую руку, в которой было донесение, для какого-то, вероятно, грозного жеста, — потом тотчас же опять сел. Лицо его сильно покраснело; на лбу явственнее обозначились ломаные морщины; в темно-серых глазах ярко блеснул огонь гнева. Но ба-

рин, видимо, хотел сдержаться. Через несколько минут он опять встал, начал ходить по комнате и скоро, казалось, опять успокоился.

Барыня была тут же и слышала послание старосты. Заметив по лицу и по движениям мужа признаки гневной вспышки, она покинула свою работу и тревожно глядела на него.

Иван Данилыч первый заговорил о донесении:

— Вот, Катя, рассердило было меня письмо Потапа... Мерзавец Трифон! вором на старости лет сделался!.. А я-то еще жалел о нем, старался облегчить его положение!.. Ну, я ж его проучу! Вот на днях же нарочно поеду...

— Но, мой друг, — возразила Катерина Николаевна: — зачем же тебе самому ездить? Да и к чему тут личные распоряжения? По-моему, лучше удалить его из Пересветова, — ведь наказанием его не исправишь... Да и он — старик... Нельзя ли сослать его, — чтобы он не портил всего имения?

— Э, ты ничего не знаешь!.. Не учи меня, что делать, — отвечал он сердито и вышел из комнаты.

Считаю нужным покороче познакомить читателей с Одоньевым.

Ему тогда было лет тридцать с чем-нибудь. Он был малого роста, толст и неуклюж. Его круглое красноватое лицо, вся невзрачная его фигура почти всегда производили неприятное впечатление. Во всей физиономии его, несмотря на разнообразную, какую-то летучую ее подвижность, было что-то жесткое. Черты же духовной природы Одоньева отражались на лице его так смутно, что без особенно короткого знакомства с ним трудно было по одному наружному его виду вывести верное заключение даже о таких общих свойствах: добр или недобр он, умен или неумен.

Нельзя сказать однако, чтобы духовные его свойства были неуловимо мелки; напротив, в сущности они были резки и крупны, но они выражались в действиях как-то перепутанно, даже хаотично. Он был впечатлителен донельзя, пылок, порывист; подчас он бывал деятелен, но без толку, а всего чаще лень одолевала его, впрочем, оттого больше, что ему казалась бесплодною всякая его деятельность. Чересчур свободное и раннее развитие

его способностей дало им направление неравномерное, от этого в уме его, в характере, в чувствах была бездна самых разнообразных, самых противоположных оттенков. Он был очень добр, но доброта его была как-то бесцельна, а главнее — она не имела в себе достаточно силы, чтобы стать твердым основанием всех его действий.

Его подвижная натура доступна была, чуть не на каждом шагу, влиянию других, — хоть он и дичился постоянно людей посторонних, не доверяя им и опасаясь их, хоть и не обладал он терпимостью к людям, особенно потому, что сильно ненавидел в них собственные свои недостатки и пороки. И точно: он беспрестанно покорялся влиянию не только разных лиц, но и разных обстоятельств, — а на беду влияние это большею частю выходило вредное, потому что сбивало с толку добрые его склонности. Вообще Одоньев не умел управлять ни собою, ни своими делами.

Дела его были в расстроенном положении. Все беспорядки, какие существовали по управлению в его имении еще прежде него, держались крепко и при нем. Были в этом

имении местные выгоды, которыми он, и зная про них, все-таки не умел воспользоваться; были у него тяжбы, тяжелые, беспокойные и убыточные, которых он не умел ни вести, ни покончить.

Имение его состояло на оброке. Оброк этот был очень легкий; но крестьяне часто платили его неисправно, хотя по зажиточности своей имели полную возможность быть исправными. Одоньев, постоянно нуждавшийся в деньгах, крайне гневался на них за это, а все не мог заставить их платить как следует. Крестьяне сельца Пересветова нисколько не боялись гневных выходок своего барина, выражавшихся, впрочем, лишь в сильных бранных словах да в грозных приказах к старосте. Они даже любили Ивана Данилыча за кроткое его обращение, за правдивость его, за самую беспечность в управлении ими, за то наконец, что он не походил на соседних, крепко занимавшихся «хозяйством» помещиков, которые очень не жаловали его.

— Пустой человек Иван Данилыч! — говорили эти помещики: — взгляните, как перебаловал крестьян своих, — просто ни на что

не похоже!.. Вредный даже пример подает в уезде!.. А что бы можно сделать из его Пересветова! ведь это имение в хороших руках — золотое дно... Ну, да авось продавать будут, — обстоятельства его куда тонки!..

Х

Однако барин наш, несмотря на то, что сильно разгневался на Трифона Афанасьева, не скоро распорядился. Правда, в ответе своем на донесение старосты Потапа он целую страницу исписал о Трифоне и имя его всякий раз упоминал с каким-нибудь бранным прилагательным; но все-таки на странице этой ничего положительного не было, а были все лишь такие фразы: «ты ему, негодяю, скажи на сходке», «ты строго-настрого объяви, моим именем, что я его не пощажу...», «ты, главное, растолкуй ему, что мне, его барину, все его мерзкие плутни и воровства хорошо известны...», «ты и сам, смотри у меня, не давай нисколько воли и потачки ему, старому мошеннику...» Кроме того, всякий раз, как приезжали к Ивану Данилычу за чем-нибудь крестьяне из Пересветова, он по-

долгу расспрашивал чуть не каждого мужика о Трифоне и всегда наказывал, при этой верной оказии, к старосте и ко всему пересветовскому миру, что, дескать, о Трифоне-мошеннике барин непременно и скорехонько сделает особенное строжайшее распоряжение...

Но проходили недели, месяцы — и все оставалось по-старому.

А Трифон Афанасьев, видно, не очень боялся заглазного гнева барина: нисколько не унимался он от воровства и продолжал ловко и бойко, не хуже молодого вора, промышлять по сторонам. В течение зимы, последовавшей за донесением Потапа Матвеева, три раза являлись из Загорья с обыском к Трифону и хотя опять ничего не нашли, однако в Загорье, в самом Пересветове и во всем околотке мужики были твердо убеждены, что в трех покражах, по которым делались обыски, приложил тяжелую руку свою не кто другой, а именно Трифон Афанасьев.

Прошла зима, настала пора вешних сельских работ, и вдруг в начале мая явился к Ивану Данилычу староста его Потап. Он приехал лично доложить барину о самой свежей,

самой мудреной проделке Трифона.

— Что ты, Потап? зачем это приехал? — спросил с некоторым удивлением Иван Данилыч своего тяжелого на подъем старосту, который из-за всего, бывало, вступал с барином в дипломатические сношения.

— А вот, батюшка Иван Данилыч, — отвечал Потап:— насчет это Трифона мир к вашей милости прислал...

— Что там еще?

— Да уж власть ваша, — а меня извольте из старост выставить, увольте, батюшка!.. Мочи моей не стало, такие, то есть, порядки пошли... Константин поедом ест, а все из-за Трифона. Вишь, он сват мне доводится, так глаза все этим и колет, говорит: «Потакаешь Тришке», а мне как можно ему потакать?.. Да теперича Константин и мир-то весь замутил; все мужички упрекают меня теперича Тришкой вором. Уж вы, Иван Данилыч, батюшка, явите божескую милость, ослобоните меня из старост!.. А я перед вашей милостью и перед миром ничем, как есть, не причинен.

— Ах ты господи! — сказал барин с сердцем: — вот с три короба намолол, а ничего

разобрать нельзя! Ты мне толком скажи, в чем дело-то, — право, олух настоящий!

— Да в чем дело-то? — отвечал староста, — знамо, все из Трифона, мир теперича меня послал. Вот я по зиме три раза вашей милости отписывал, что к Трифону с обыском приходили...

— Ну, писал ты... Из Загорья все три раза обыскивали?..

— Из Загорья.

— Я и сделаю распоряжение... А теперь-то? — спросил барин несколько робко, — нет ли еще чего-нибудь нового?..

— А как же, батюшка!.. Есть...

— Так рассказывай же!..

— Да вот, батюшка, у Зота Гордеича в Загорье быка увели, и надо быть — Трифонове дельцо, да никак пособлял ему в этом Езыканка.

— Ах, разбойник! — вскричал Одоньев с величайшим негодованием, — сам, старый черт, вором сделался, да и других с пути сбивает!..

— Точно, батюшка!.. Уж и не знаем мы, что и делать-то; все, как есть, теперича пропада-

ем из-за него, разбойника!..

— Ну, ну! дальше...

— Ну, и украли, — продолжал Потап Матвеев, с особенным каким-то ожесточением размахивая руками: — да и как важно украли-то, батюшка Иван Данилыч: в сапоги быка обули, чтобы следу животного не видать было! — так и свели быка.

— Значит — поймали их?.. уличили?..

— Нету, где их поймать; уж такие-то воры темные, что на поди!.. Так в народе только поговаривают, что, надо быть, быка в сапоги обули, ведь мокреть перед этим была, а следов-то бычьих не нашли...

— Следствие было?

— Как же, и следствие наводили, — становой приезжал, по всей деревне обыски делали, нас всех к допросу пригоняли, уж маяли, маяли... Из того больше и мир зло взяло.

— Ну, а что Трифон и Езыкканка?

— Да их долго все допрашивали, а там и в стан раза два гоняли — и то ничего!.. Трифон, как есть, оправдался; Зот Гордеич мало ль хлопотал, чтобы его в острог посадить, да нет! становой говорит: «Никак нельзя, улик ника-

ких нету...» А вот Езыканка — так он разбился в речах: теперича в стану его держат: писарь станового Семен Дорофеич мне проговаривал — никак в острог угодит Езыканка... А на Трифона он ничего не показывает. На Езыканку стало подозрение из того больше, что лошадь его больно перепала: слухи есть, что они проводили быка в соседний уезд, в Сысовку, где уж испокон веку воры, да на лошади-то Езыканкиной до свету домой и поспели — вот она и перепала.

— Ну, а сам ты допрашивал Трифона?.. Ты бы его от моего имени на сходке...

— А что его допрашивать? Разве он какие речи принимает? Слова-то ему как к стене горох... Как стали у нас из-за него обыски делать да к допросу всех таскать, в те поры мало ль всем миром на речах его тазали! Да ничего с ним не поделаешь...

— Что ж он говорит?

— Да что, батюшка Иван Данилыч? говорит он, что, дескать, знать не знаю, ведать не ведаю... А как больно приставать к нему стали, так он, охаверник[6] эдакой, лаяться начал, хуже, прости господи, всякой злой соба-

ки... Сожжет, боимся!..

— А ты бы ему мной пригрозил...

— И, батюшка, он вашу милость и в грош не ставит.

— Вот ты дурак какой!.. Ну, как-таки он смеет?..

— Да уж вы не взыщите на простом слове. Он допрежь того что, бывало, говаривал? «А что мне барин? Я его махонького из хохлацкой земли привез...» Не обессудьте, батюшка, ведь это он так-то похваляется.

— Экая шельма! — промолвил Одоньев.

— Ну, да теперича, — продолжал староста, — он много тише стал; сумлеваться, кажись, начал. Вот онамеднись мать Езыканкина, Афросинья, — уж как она, сердешная, по сыне убивается! — встрела на улице Тришку, встрела, да и стала его упрекать, что сына ее вором сделал, загубил, а сама так и заливается слезами!.. А он уставился эдак-то в землю, уставился, а ничего насупротив не сказал, да и прочь пошел молча... Вот с этого разу много тише стал, словно сумлеваться начал...

Под конец этого разговора Иван Данилыч разгневался чрезвычайно. Досталось и старо-

сте Потапу за то, что он, «мошенник тоже», не исполняет в точности каких-то приказаний барских и не печется о порядке в вотчине. Но гнев этот на старосте и оборвался. Правда, Одоньев решился принять непременно «самые действительные» меры в отношении Трифона; но опять никаких распоряжений покуда не сделал и Потапа отпустил без всякого приказа.

Прошло еще недели две-три, Езыканку перевели, по хлопотам Зота Гордеича, в острог, и староста Потап, не решаясь уже на личный доклад, донес об этом барину письменно. Гнев Ивана Данилыча поневоле должен был обратиться на настоящего виновного. К тому же мать Езыканкина пришла к Одоньеву «просить милости», чтобы заступился за ее сына и выручил его из острога. С горькими слезами жаловалась она на Трифона.

— Батюшка! — вопила она: — он, разбойник, загубил моего Езыканку!.. А малый допрежь того смиренный был, — малого ребенка николи не обидел!.. Родимый ты наш! смилуйся над нами, сиротами горькими!.. Батюшка! ни в чем-то мы не виновны!.. Тришка зло-

дей, душегубец!.. Езыканку он загубил!.. Все-то мы теперича осиротели, — семеро нас!.. Один был работник на всю семью, батюшка!..

Жалобные речи и горькие слезы Афросиньи, наконец, подействовали решительно на Ивана Данилыча: он тотчас же собрался ехать в деревню и, несмотря на возражения Катерины Николаевны, убеждавшей его опять отложить поездку на некоторое время, отправился в путь. Дорогою он всячески поддавал себе жару и кипятился страшно, совершенно забывая, что в летнее жаркое время никак не годилось бы ему, толстому увальню, кипятиться.

Иван Данилыч приехал в сельцо Пересветово чрезмерно гневный, не на шутку грозный: придрался он к старосте и разбранил его в пух за то, что господский флигель нечисто содержан и нисколько не готов для приема владельца имения; оттаскал за вихор мальчишку-садовника из-за какой-то безделицы; прогнал от себя скотницу Мавру, затопав на нее изо всей мочи ногами, «словно какой оглашенный!», как потихоньку рассказывала потом Мавра; объявил с великим азартом всем мужикам-домохозяевам, которые по обыкновению собрались на встречу и на поклон барину, что он их, мошенников, чересчур уж избаловал, а теперь не намерен баловать и никаких беспорядков больше не потерпит; и, наконец, громогласно приказал позвать к себе «бездельника, вора, разбойника Тришку» — так-таки и назвал он его тут же.

Трифонов двор был неподалеку от флигеля, где так грозно распоряжался барин, и Трифон явился скорехонько, «как лист перед травой», именно как лист, потому что он дрожал

всеми членами.

Надо сказать здесь, что гнев барский врасплох застал старого грешника.

Еще до первой жалобы на него старосты Потапа в письме к барину он уже нередко уставал от воровской жизни и впадал в какое-то бессилие: мысль его по-прежнему часто стремилась к грешным делам, но не всегда доставало воли его на совершение их; а чаще овладевали им прежние скорбные и страшные воспоминания о сыне, о гибели труда своего, о матери, о Саввушке — воспоминания, подавленные перед тем разнообразными впечатлениями воровского промысла и безотчетною печалью, но теперь надрывавшие в нем все силы душевные, все силы на зло и добро. Только после жалоб на него барину энергия его пробудилась, и он, не страшась ни гнева барского, ни уреканий старосты и всего мира, напротив раздражаемый этой борьбою, принялся вновь за воровство, принялся ловко и бойко, не хуже молодого вора. Но с самого посажения Езыканки в тюрьму душа его заняла страшной тоскою. Он горевал об Езыканке, как будто потерял последне-

го сына, последнюю опору и надежду в жизни. Совесть громко и непрестанно твердила ему, что он был причиною несчастья простоватого парня, причиною нищенства и бедствия его семьи. С великим ужасом сознал он, что, кроме матери, сына, семейных своих и бедного Саввушки, еще погубил человека.

Идя теперь на барский двор, Трифон был проникнут тяжелым ужасом. Ноги у него подкашивались; он брел медленно и неровной поступью.

Это был мужик высокого роста, худощавый и сгорбленный. Темноцветные впалые щеки его были покрыты редкими, седыми волосами; жидкая бородка торчала клином; черные с проседью волоса падали длинными прядями с головы, закрывая лоб и отчасти глаза. Он был одет бедно, в полинявшей ветхой свитке.

Когда он был уже на половине барского двора, Иван Данилыч выглянул из окна.

— Ну, ну! — закричал он:— скорей, разбойник!.. Ах ты!..

Но Трифон не ускорил шагу и головы не приподнял.

Переступая через порог флигеля, он за-
пнулся, пошатнулся словно пьяный, на мгно-
вение оперся о притолоку, потом, чуть не бе-
гом, прямо без зова, вошел в ту комнату, где
был Иван Данилыч, и низехонько поклонил-
ся он барину, отирая левым рукавом крупный
пот, катившийся со лба. При этом он откинул
пряди волос, набегавшие ему на глаза, и чер-
ты лица его совсем открылись. Трифон был
старик, с виду слабый и дряхлый. Высокий
лоб его был изрезан глубокими ломаными
морщинами; его глаза, обведенные черными
кругами, глядели необыкновенно робко и тре-
вожно перебегали с предмета на предмет, ни
на одном не останавливаясь. Брови его были
напряженно приподняты и сдвинуты, а губы
несколько раскрыты, как будто в ту же мину-
ту собирался он заговорить; жиденькая бород-
ка его заметно тряслась. Во всем лице, во всей
осанке его выражался резкими чертами со-
вершенный упадок духа.

Жалкий вид старика мгновенно поразил
Одоньева, и он никак не мог собраться с ду-
хом задать ему, на первых же порах, славный
окрик, такой окрик, на который барин наш

был великий мастер, — благо судьба одарила его широкою грудью и звонким голосом. Мало того, что не мог крикнуть, Иван Данилыч почувствовал, что весь гнев его улетучивается, что в душу его проникает какая-то странная жалость к этому так оробевшему старику.

С минуту молча и пристально смотрел он на Трифона, а этот бедняк стоял посреди комнаты, сторбившись, бродя вокруг отупелым, бессмысленным взором и вздрагивая по временам всем телом, как будто на ту пору мучила его самая злая из всех сорока сестер-лихоманок.

— Ну, так как же, Трифон? — сказал, наконец, барин негромким голосом, выражению которого, впрочем, он старался придать особенную суровость: — ну, так как же?.. Что ж мне с тобой делать теперь?.. а?..

— Батюшка, — начал было дрожащим голосом Трифон, волнение которого, казалось, еще более усилилось.

— Да что «батюшка»?.. какой я тебе «батюшка»? — прервал Одоньев: — ты сам скажи, что мне с тобой делать теперь...

Но Трифон молчал.

— Как!.. — заговорил опять Иван Данилыч, шибко расхаживая по комнате: — как!.. Господи боже мой!.. На старости лет, перед смертью, накануне, может, смерти, вором гнусным сделался!.. Шестидесятый год пошел, — я нарочно по ревизской сказке справился... Да мало того, что сам вор, молодых парней еще с пути сбиваешь!.. Езыканка-то в острог попал!.. Афросинья да шестеро малых ребят круглыми сиротами опять остались!.. А кто их осиротил, пустил по миру? кто погубил простого и, может, доброго парня? Ты, старый вор! ты, вор проклятый!.. Да ты все имение у меня эдак можешь погубить!.. Мир-то что от тебя, вора, выносит?.. За что обыски у невиноватых людей делают, к допросам таскают, отрывают от дела?.. За что на целой деревне лежит слава худая?.. Да что ж ты думаешь: могу я терпеть, чтобы все из-за тебя погибали?.. Ну, говори же!..

— Батюшка... — залепетал Трифон, — синя пороха... На деревне... Не пропало...

— Ах ты разбойник!.. Так ты еще считаешь благодеянием с своей стороны, что у своих не воруешь?.. Да знаешь ли ты? — продолжал

Одоньев протяжно, подойдя к Трифону вплоть и положив руку на его вздрагивавшее плечо: — да знаешь ли, что если б ты принял-ся воровать у своих и они тебя своим судом рассудили бы да под ночьку потемнее сбыли бы с рук, прибрали подальше... Я... Коли б и наверное узнал, что с тобою сделали, — я бы рукой махнул и сказал бы только: «Собаке собачья смерть!..» Поверь, я бы не выдал из-за тебя, вора гнусного, тех, кто разделался бы с тобою!..

Жестокие слова эти Иван Данилыч сказал порывисто и, конечно, необдуманно. Невольно дрожь пробежала у него между плеч; он замолчал, отошел к окну и призадумался. Гневный порыв против Трифона вновь погас в душе его — и на этот раз погас совсем. Между тем Трифон стоял ни жив ни мертв.

— Слушай, — продолжал Одоньев уже довольно спокойно: — слушай хорошо; я помню тебя давно, давно знаю, что ты за человек. Ты был всегда неуживчив с людьми... Но это еще что?.. Ты мать не почитал, негодяй!.. Старуха была кропотливая и малоумная, да ведь мать же!.. Помнишь, нечестивую руку свою ты

осмелился поднять на нее?.. Помнишь это? Ну, что — скажи, простила она тебя?.. Простила и благословила?..

Старик молчал, упорно уставив взор в землю. Редкие слезы катились из глаз его.

— А, не отвечаешь! — сказал опять Иван Данилыч. — Знаю, что она не хотела благословить тебя, умерла, не простивши!.. И посмотри, что вышло: ты был крестьянином довольно зажиточным, а стал бобылем и бобылем останешься, ведь воровство не поможет, на него не разживешься... Сын твой, на которого ты много надеялся, в молодых годах умер да оставил двух детей малых, лишнюю обузу для семьи; другой сын — не в помочь, а в тягость; дочь — калека; жена умерла... Видишь ли, как господь наказует тебя за грехи? А ты святую руку его и не почувствовал?.. Бог ждал от тебя раскаяния, а ты раскаялся ли?.. Нехристь ты настоящий!.. Знаешь, почему ты под старость вором сделался? мать тебя не простила и прокляла, — бог покарал и отступился!.. И прикоснулся к мысли твоей, ко всем делам твоим сам дьявол... Он тебя осетил — и, накануне смерти, ты стал его вер-

НЫМ СЛУГОЮ!

Слова эти, как громовый удар, поразили Трифона. Он упал, рыдая в голос, как женщина над гробом любимого детища. Долго лежал он и не мог слова вымолвить. Тоска душевная отзывалась во всем: в громких рыданиях, тяжело приподнимавших его старое тело, в глухих вздохах, в бессилье встать с полу. Невольно прошибла слеза и Одоньева. Душа его была умягчена совершенно, не оставалось в ней и тени гнева; напротив, она смущена была трепетным чувством сострадания к несчастному старику.

Он приподнял его. Старик стоял, шатаясь как пьяный, с смертной бледностью на лице, с помертвелым взором, с полураскрытым ртом.

— Полно, Трифон, — промолвил Одоньев тихим голосом. — Да простит тебя господь, да простит тебе все грехи твои... А я прощаю тебя!.. Не бойся, ничего тебе не сделаю, — бог тебе судья: ступай домой, не бойся!.. Ведь ты не станешь больше воровать? Не станешь, скажи мне?.. Трифон! к клятвам не приневоливаю тебя, скажи только просто — не станешь

воровать?..

Старик приподнял качавшуюся голову, взглянул на образа, перекрестился дрожащей рукою и прошептал: — Не стану...

— Верю!.. Ничего мне больше не надо. Да укрепит тебя бог великой милостью своею!.. Ступай домой!.. Молись!.. Милость божья велика!..

И Трифон вышел нетвердыми шагами. Опустив голову, тихо плача и тяжело вздыхая, побрел он домой...

Этим решением Ивана Данилыча очень недовольны остались мужички пересветовские. Они надеялись было, что барин по крайней мере подвергнет Трифона тяжелому телесному наказанию.

— Вот уж рассудил! — говорили они, — смотри, малый, вот таперича-то начнет Тришка разбойничать!..

А что если бы соседние помещики узнали о таком решении «их брата-дворянина» Одоньева? Думаю, они еще более убедились бы в том, что «он вредный пример подает».

XII

Но Трифон Афанасьев после разговора своего с барином не только перестал воровать и прекратил всякие сношения с ворами, но и как будто совсем переродился.

Станным и неестественным, может быть, найдут многие это внезапное восстание глубоко павшего человека: но это действительно так было. Не возьмусь объяснить такое явление: укажу только на одно обстоятельство, которое, кажется мне, может навести на лучшее объяснение. Много раз случалось мне быть свидетелем удивительного действия самых немудрых лекарств на неиспорченную натуру больных простолюдинов; много раз также видал я у них быстрые и полные переходы от одного чувства к другому, от одной мысли к другой: вообще их радости и горе, их смех и печаль, их добрые и злые деяния — просты и несложны.

Итак, Трифон честно сдержал данное слово, — милость божия помогла ему в этом. Но в то же время одряхлел он чрезвычайно, и, взглядевшись в него попристальнее, нельзя

было не заметить, что скоро он должен будет предстать пред последний, праведный суд.

Теперь, с семьей своей да с своей немощью, Трифон перебивался кое-как изо дня в день и тяжело маялся: иной раз не на что было соли купить, иной раз приходилось хоть кошель надеть да пойти по миру; но Трифон все сносил терпеливо, ни на что не жаловался, никого не просил о помощи. А положение его было истинно трудное, тем более что народная ненависть стала преследовать его постоянно и жестоко.

Покуда боялись Трифона, ненависть эта не обнаруживалась; но как только подметили, что нечего уже бояться его (а это подметили скоро), она резко выразилась и во всем околотке и в самом Пересветове. В Пересветове стали притеснять и обижать его беспрестанно: всех чаще и без соблюдения очереди угоняли лошаденку Трифона под какие-нибудь подводы; всех чаще и его самого наряжали на разные общественные работы: дороги поправлять, мосты и гати чинить, луга и лес караулить. Не смотрели на его старость, дряхлость и скудость; не хотели нисколько ува-

жить бедственного положения его семьи.

— А что его жалеть-то? — говорили пересветовцы: — мало ль он, старый черт, измылся над нами!.. Пускай теперича сам узнает. А мы из-за него уж терпели, терпели!.. Да как еще боялись-то его, разбойника!..

В Пересветове, впрочем, хорошо все знали, что Трифон больше не ворует, но в соседних селениях, а особенно в Загорье не знали или не хотели знать этого. При всякой покраже шли, по старой привычке, обыскивать к Трифону, и пересветовцы не только не мешали этим обыскам, но даже поощряли их своими толками.

— Вишь ты, — говаривали они, — глянь-ко, малый, до чего дожил старый черт Тришка!.. Нету-таки ему веры, все к нему да к нему с обысками... Право слово, старый черт!.. Славу худую на всю деревню положил, хоть бы околевал поскорее!..

— И, малый! Проживет он до светопреставления!.. Ведь, чай, знаешь: мать прокляла, — земля-то его, нехристя, и не принимает.

— И то, знать, малый!.. А глянь, как иссох-то, инда почернел весь... Молиться, ка-

жись, стал — да нету!.. Не замолит теперича... Где уж!.. Мать прокляла!..

— Знамо, не замолит... Вон и отец Ермил говорит... Вот кабы сорокоуст заказал, — обедни бы надо почаству служить, да милостыню роздал бы по монастырям, да нищей братье... Ну, так оно бы тово... Полегче было бы, — ан, на это кармана его не хватает! Ведь какие у него достатки? Воровал, воровал, старый пес, а что толку вышло?.. Что наворует, бывало, все-то пропьет!..

— А куда смирён стал.

— Эка, смирён! — возражали приходившие с обысками сердитые загорцы, — прикидывается, старый черт!.. Коли тепериче сам не ворует, так краденое принимает аль сбывает куда... Знамо, не перестал вором быть: уж повадился кувшин по воду ходить, на том ему и голову сложить... Поопасливее только стал, разбойник!

А между тем Трифон изо всех сил старался поддержать в себе бодрость духа. Он видел себя одиноким, покинутым всеми, гонимым, заслуженно гонимым. Он скорбел и томился от всего этого, а пуще от жгучих укоров совести;

но ожесточение уже оставило его, но мгла греховная уже рассеялась, и дух его восстал. Слова Ивана Данилыча: «Молись!.. Милость божья велика!» — беспрестанно живительно звучали в сердце его, и начал он молиться богу, к нему лишь обращая немногие надежды свои. Молитва его была жарка и страстна, но проникнута великой печалью. Однако мало-помалу стал он почерпать из ней утешение для больной души: страшный призрак матери реже становился обок его, когда начинал он молиться. И крепка уже была в нем мысль о великом милосердии бога.

Всего чаще молился он по ночам, одинок с своею совестью, пред страшным оком вездесущего бога.

Позади двора его, в недалеком расстоянии, находился небольшой пригорок, на котором стоял старый и полузасохший вяз и откуда видна была белая церковь села Мохова. Почти каждую ночь, как только засыпала жизнь в Пересветове, Трифон приходил на пригорок этот, прислонялся спиною к вязу, устремлял взоры на церковь и молился с великим сокрушением душевным....

Раз крестьянин деревни Загорья Иван Головач, о котором мы упоминали уже мельком, проезжая ночью неподалеку от Трифонова пригорка, увидел Трифона под вязом. Сначала Головач сильно перепугался, но скоро, всмотревшись, узнал старика. Подивился он и не знал, что подумать; но на другой день пришлось ему объяснить случай этот по-своему: поутру, глянь, увели у него со двора лучшую упряжную его лошадь. Головач как раз заподозрил в покраже Трифона, и хотя по обыску, тотчас же сделанному, ничего не нашли у него, однако Головач был твердо уверен, что обокрал его не кто другой, а Трифон.

Головач был человек рьяный и злобный; он в ту же ночь решился отомстить Трифону, «хорошенько намять ему бока доброй дубиной». Как только уснули в Загорье, он отправился с своей увесистой дубинкой к Пересветову и залег под плетнем, на задах Трифонова двора.

Вскоре он увидел, что Трифон выходит из задних ворот своих. С непокрытой, поникшей головою тихо прошел он мимо самого Головача прямо на пригорок. Головач хотел было

тут же кинуться на него, но что-то удержало его.

«Дай посмотрю, — подумал он, — что Тришка делать будет... Вишь крадется... Словно колдун какой!..»

Между тем старик, взойдя на пригорок, стал на колени и начал молиться. Потом упал он ниц на землю и долго-долго не приподнимал головы; тяжкие вздохи и прерывистые рыдания слышны были Головачу.

Изумился он чрезвычайно всему этому, и хоть не прошла злоба его на Трифона, однако он не решился уже теперь напасть на беззащитного молящегося старика.

«Вишь, Тришка проклятый! — сказал он самому себе, — ну, счастлив твой бог!.. Где грехи-то вздумал замаливать!.. Чудно, право... А в церковь, чай, редко ходит...»

* * *

Проходили дни, недели, месяцы — и опять весна настала, весна теплая, красная, благодатная для деревьев и растений, озарившая кротким светом надежд темные лица поселян, — весна, опять благоприятная для роения пчел.

Однажды выдался весь денек пасмурный и

дождливый. Под вечер, эдак уже в сумерки, вдруг взошел на двор Трифонов старый знакомый наш Михей Савостьянов.

У полурастворенных задних ворот Трифон починивал борону.

— Бог в помочь, сосед! — сказал ему приветливо Михей. Трифон с изумлением, почти с испугом посмотрел на доброго старика.

— Спасибо, — отвечал он глухим голосом и ни слова больше не мог произнести.

— А что, родимый? — сказал как-то особенно весело Михей Савостьянович: — я ведь за дельцом пришел теперича к тебе: ты вот пчелкой не хочешь ли опять позаняться?.. Ну, право слово, оно бы тово... Мне-то господь послал, у меня вдоволь, пожалуй, с радостью помочь могу.

Трифон ничего не отвечал. Крупные слезы потекли из глаз его.

Михей тотчас же заметил волнение соседа.

— Что ты! что ты?.. Господь с тобою! — говорил добрый старик. — Ты бы, родимый, перекрестился. Ну, об чем так-то плачешь, сокрушаешься?..

— Об окаянстве своем, — отвечал Трифон

печально. — Нету, Михей Савостьяныч! Не для чего теперича дело это затевать!.. Знаешь ты мою семью?.. Господь на меня прогневался!.. Знаешь — каков человек я был недавно?.. Ох! грешник окаянный!.. А мать-то... Ведь она...

И старик не мог договорить.

— Господи помилуй! — молвил Михей и перекрестился. — А зачем ты тоску на себя напускаешь?.. Ну, как на бога не надеяться!.. Милость его велика!.. Молися о грехах со слезами, а не унывай... Господи тебя помилуй!.. Что ты, право?.. Ты вот теперича потрудись честно, зависти не имей, потрудись, душу берегаючи... Трифон! ведь бог-то любит честный труд!

— Не могу, Михей Савостьяныч! видит бог, не могу!.. Мне и жить-то здесь нельзя, — разве не знаешь?.. что людей еще на грех наводить?.. Все-то клянут меня... Гонят, ненавидят...

— Что ж делать-то?.. Богу молися!.. Дай срок, и они увидят, что надо по-божьи делать!

Но все возражения и утешения Михея Савостьянова были тщетны: Трифон наотрез от-

казался от его благодушного предложения и в конце разговора высказал свою потаенную мысль.

— Вот что я задумал, Михей Савостьяныч: сказывают, барин приедет сюда вокруг троицына дня... Думаю попросить его, — коли б перевел он меня в Делюхино!.. Далекотселова... Там не знают... Не буду там и добрых людей на грех наводить... Напоследях-то авось мне полегче будет...

* * *

К троицыну дню барин, точно, приехал в село Пересветово. Он был сильно не в духе на ту пору: пересветовцы опять неисправно заплатили оброк, да к тому же приходилось ленивому Ивану Данилычу позаняться, в течение нескольких дней, любовным размежеванием с соседними помещиками. Неудачно выбрал время Трифон Афанасьев для разговора своего с барином.

— Что ты?.. Зачем еще? — спросил сурово Одоньев, увидав старика.

— К вашей милости, батюшка...

— Говори ты мне скорее... Некогда тут возиться со всякими вашими глупостями!

— Батюшка, — сказал Трифон дрожащим голосом: — сделайте божескую милость... Переведите меня в Делюхино...

— Это зачем?

— Да невмоготу, батюшка, стало... Невмоготу стало проживать здесь...

— Что за вздор!.. Это пустяки!.. Объясни по крайней мере толком: отчего нельзя жить тебе здесь?

— Все обыскивают... Понапрасну теперича... А видит бог...

И старик горько, горько заплакал. Жаль стало его Одоньеву.

— Взял бы я тебя во двор, — сказал он, несколько подумав: — но у тебя семья такая, ну да и дворня-то у меня... Нет, эдак не приходится.

— Куда хотите, батюшка, девайте, а отселева-то... Сделайте божескую милость!.. Увольте, батюшка...

— Но что ж ты будешь делать в Делюхи-не? — спросил Иван Данилыч.

— Кормить буду семью, батюшка.

— Ну, хорошо, хорошо, — так и быть! Однако верного обещания не даю, а подумаю... По-

дожди — вот увидим...

И барин наш, по обыкновению своему, не решил дела окончательно. Зато судьба скоро порешила участь Трифона.

XIII

На ильин день бывает храмовой праздник в селе Лимаве, в приходе которого состоит и деревня Загорье. Лимавские и, особенно, загорские крестьяне очень зажиточны и любят широко попить, когда «праздник на их улицу заходит». Обыкновенно празднованье это продолжается три дня: в первый и второй дни собственно празднуют, а в третий провожают праздник, опохмеляясь и добром его поминаючи.

Накануне ильина дня зашел к Трифону отец его невестки Анны, Алексей, крестьянин из села Лимавы, человек небогатый, но радужный и добрый.

— Сват Трифон, — сказал Алексей: — о празднике к нам милости просим. Ты и Аннушку со внучками отпусти, хоша на завтрашний денек, — истопит дома печку, да и к нам, а к ночи вернется...

— Пожалуй, сват Алексей, невестку отпущу, — отвечал Трифон.

— Да ты сам-то беспременно приходи.

— Нету, сват Алексей!.. Где мне по праздникам таскаться?.. Не могу... Спасибо...

Как ни просил Алексей, но Трифон наотрез отказался и только обещал прийти вечером, чтобы проводить домой невестку.

— Ты, сват, не забудь же, приди, — говорил Алексей, прощаясь с Трифоном: — ведь у меня некому будет проводить домой Аннушку; а пойдет она одна, так, пожалуй, загорские парни с хмелю-то избидят... Ведь сам ты знаешь — озорный они народ!..

Во всю ночь под ильин день не спал Трифон; он пробыл долго, долго на пригорке своем и жарко молился. В эту ночь душа его была исполнена смертной печалью; ныла и билась она под каким-то грозным предчувствием.

На самый праздник он был у заутрени и у обедни в селе Мохове. С появлением света дневного тоска его рассеялась, и стало легко у него на душе, как давно уже не бывало. После обедни зашел он на кладбище и беспечально

помолился: даже на могиле матери не гнала его прежняя душевная скорбь. Затем и во весь день он был спокоен.

Перед вечером зашел он к Михею Савостьянову на пчельник и пробыл там с часок. Старый пчелинец, обрадовался, увидав, что Трифон спокоен духом. Трифон рассказал ему свои предположения о переходе в Делюхино и о житье там, Михей вполне одобрил их. Старики наговорились досыта и по душе. Но перед уходом Трифон задумался и тоскливо опустил голову.

— Что ты словно опять закручинился? — спросил Михей.

— А так, — отвечал тихо Трифон: — прощай, Михей Савостьяныч... — В дверях пчельника он остановился на мгновение и промолвил:

— Уж такая тоска!.. Михей Савостьяныч!.. Коли что со мной подеется... Помолись ты о грешной душе моей...

— Да полно ты, полно!.. Господь с тобою!.. Ну, что ты это?..

— Трудно очень на душе стало, — прошептал Трифон.

Трифон прямо отправился в Лимаву.

Путь его шел на Загорье. Опасаясь, чтобы пьяные мужики не привязались к нему да не побили бы, он пошел не по деревне, а по задворьям. Деревня эта вытянута в одну длинную линию — и он миновал все пространство задворьев благополучно, не встретив ни одного человека.

Но на конце деревни встрелась ему небольшая толпа самых удалых, отчаянных гуляк: тут были молодые парни, сильно пьяные, да несколько баб молодых, большею частью солдаток, видимо тоже подгулявших. Надо заметить, что Загорье — селение большое и зажиточное по отходной и фабричной промышленности своих жителей и что жители эти, как мужчины, так и женщины, не отличаются нравственностью.

Толпа гуляк, встретившихся Трифону, была шумна и весела. Она шла медленно, с громкими песнями, а перед нею бойко отплясывал, с визгом и гиком, Иван Головач. Но, увидев Трифона, он вдруг перестал плясать и закричал ему:

— Эй ты, старый черт, вор Тришка!.. Опять по задам шатаешься!.. Высматриваешь!.. Я тебя, старый черт!.. Уж доконаю!..

Но в толпе послышались голоса, понуждавшие Головача приняться за пляску, и он снова пустился выделывать ногами разные штуки; а Трифон прошел дальше, сторонкой.

У свата Алексея праздник оказался не в праздник. Жена его вдруг разнемоглась — и Трифон, оставив Анну при больной матери, отправился один домой.

Поздно уж было, когда он подошел опять к Загорью. В раздумье он остановился у околицы. «Где тут пройти? — думал он, — через деревню аль опять по задворьям?» Слышал он, что народ шибко гуляет на улице; с разных мест неслись буйно-веселые крики и звонко-голосое пенье... И с страшным замиранием сердца он решил идти по задворьям.

Ночь была не светлая; мутная мгла осталась от дневного зноя и потопляла всю окрестность; сквозь нее тускло кой-где мерцали звезды; с левой стороны, над краем горизонта, вставал месяц огромным темнобагровым шаром.

Трифон прошел уже половину дороги. На самой этой половине дорога делала изгиб, и, поворотив за него, старик очутился лицом к лицу с Головачом да с другим каким-то парнем, тщедушным и рыжеватеньким.

— Ах, ты!.. Все не уймаешься! — молвил, стиснув зубы, Головач: — поджидал я тебя... Теперича не минуешь!..

И он со всего размаху ударил Трифона толстым колом по голове. Старик успел только приподнять немного руку, чтобы перекреститься, и упал на землю.

— Никак, тово... Сразу... — сказал рыжеватенький парень, невольно содрогнувшись.

— Нет еще! — отвечал злобно Головач: — а вот теперича... Доконать надо!..

И Головач нанес бездыханному старику еще два страшных удара по голове, но они были напрасны: Трифон первым ударом был уже убит...

* * *

Началось следствие — и было открыто только, что череп Трифона разбит на тридцать семь кусков. Следствие это шло долго; временное отделение земского суда произво-

дило его со всем возможным для него усердием, — но все было напрасно: кровь Трифона осталась невзысканною с головы убийцы от суда людского.

Как-то тяжело изумились пересветовцы, сведав про злополучную долю Трифона. Память о нем еще до сих пор жива в Пересветове; о невинной смерти его часто толкуют крестьяне, и имя убийцы поминают с проклятием за то, что не пощадил старика...

Семью Трифона призрел и устроил Иван Данилыч. Барин сделал свое дело — и, конечно, никто и ни в чем не осудит его за Трифона...

4 ноября 1858 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

Степан Тимофеевич Славутинский (Биографическая справка)

Степан Тимофеевич Славутинский родился в 1825 г. в селе Грайворон Курской губернии, в дворянской семье. Детство провел в родовом имении своей матери — селе Михеево Егорьевского уезда Рязанской губернии.

Вместе с поэтом Я. П. Полонским Славутинский учился в рязанской гимназии, по окончании которой (1847) служил чиновником особых поручений при рязанском губернаторе.

Начало литературной деятельности Славутинского относится к 1857 г., когда в журнале «Русский вестник» были помещены несколько его стихотворений. В следующие годы Славутинский печатался в «Русском вестнике» («История моего деда», «Читальщица»), в «Современнике» («Своя рубашка», «Жизнь и похождения Трифона Афанасьева»), в «Русском слове» (роман «Беглянка»). В период революционной ситуации Славутинский сблизился с революционными демократами,

писал «внутренние обозрения» для «Современника» и состоял в личной переписке с Н. А. Добролюбовым, выступавшим в роли сурового, но доброжелательного критика его журнальной деятельности (Славутинскому были свойственны либеральные иллюзии. См. альманах «Огни», кн. I, Петроград, 1916). Работа Славутинского в «Современнике» совпала с началом принципиальных внутриредакционных разногласий в этом органе, приведших в конце концов к разрыву Чернышевского, Добролюбова и Некрасова с писателями Толстым, Тургеневым, Григоровичем. Встав на путь открытой вражды к самодержавно-крепостническому строю, Чернышевский, Добролюбов и Некрасов стремились объединить вокруг редакции «Современника» молодых беллетристов, произведения которых могли бы соответствовать новому курсу журнала. Одним из таких беллетристов был Славутинский. Его повести и рассказы, вышедшие в 1860 г. отдельным изданием, были встречены сочувственной рецензией Добролюбова, подчеркивавшего, наряду с антикрепостнической тенденцией, присущей

этим произведениям, отсутствие в них снисходительной идеализации народной жизни. «Славутинский обходится с крестьянским миром довольно строго, — писал Добролюбов, — он не щадит красок для изображения дурных сторон его, не прячет подробностей, свидетельствующих о том, какие грубые и сильные препятствия часто встречают в нем доброе намерение или полезное предприятие. Но, несмотря на это, признаемся, рассказы Славутинского гораздо более возбуждают в нас уважение и сочувствие к народу, нежели все приторные идиллии прежних рассказчиков».

В дальнейшем, однако, Славутинский уходит от активной литературной деятельности и снова поступает на государственную службу. В 70-80-е годы в журналах «Русский вестник» и «Исторический вестник» Славутинский опубликовал несколько сочинений исторического и биографического характера.

Умер Славутинский в 1884 г. в г. Вильно.

Примечания

Отава — трава, в тот же год выросшая на месте скошенной.

[^^^]

2

Матица — балка, поддерживающая потолок.

[^^^]

Иезекииль. (Прим. автора.)

[^^^]

4

Притоманный — истинный, настоящий.

[^^^]

5

Время, когда крестьяне приречных сел нанимаются в коноводы к баркам. (Прим. автора.)

[^^^]

6

Охаверник — срамник, нахал, озорник, буян.

[^^^]